

ЛАРС МИТТИНГ

ОТ АВТОРА МИРОВОГО БЕСТСЕЛЛЕРА
«НОРВЕЖСКИЙ ЛЕС»

ШЕСТНАДЦАТЬ
ДЕРЕВЬЕВ
СОММЫ



Ларс МИТТИНГ

Шестнадцать деревьев Соммы

«ЭКСМО»

2014

УДК 821.113.5-312.4
ББК 84(4Нор)-44

Миттинг Л.

Шестнадцать деревьев Соммы / Л. Миттинг — «Эксмо», 2014

ISBN 978-5-04-093459-1

Ларс Миттинг — новая звезда мировой литературы. Первая же его книга «Норвежский лес» стала супербестселлером. В 2016 году она получила премию Ассоциации книгоиздателей Великобритании и была признана лучшим произведением года. ...Его жизнь изменилась навсегда, когда ему было три года и они с родителями поехали отдыхать во Францию. Когда загадочным образом в один день погибли его мать и отец. Когда сам он бесследно исчез и был обнаружен случайными людьми лишь через три дня, совершенно ничего не помня. С тех пор Эдвард Хирифьелль безуспешно пытается разгадать тайну давней трагедии. Кажется, что все следы безнадежно запутаны и затеряны во времени. Но путь к разгадке начинался совсем рядом — в роще свилеватых карельских берез рядом с домом...

УДК 821.113.5-312.4

ББК 84(4Нор)-44

ISBN 978-5-04-093459-1

© Миттинг Л., 2014

© Эксмо, 2014

Содержание

I	6
II	10
1	10
2	23
3	34
4	46
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Ларс Миттинг

Шестнадцать деревьев Соммы

*Скажи – и в кольцах дыма
я исчезну, растворюсь,
с туманом времени сольюсь,
от замерзших листьев прочь,
в деревьев испуганную ночь,
на пляж, открытый всем ветрам,
но злая боль – она и там меня достанет¹.*

Боб Дилан
«Mr. Tambourine Man»



¹ Пер. М. Файнерман.

I

Так ветер разносит пепел

Мама мне представлялась запахом. Мама мне представлялась теплом. Бедром, к которому я прижимался. Синим взмахом. Само ее платье помнилось мне смутно. Я говорил себе, что она выпустила меня в жизнь, как стрелу из лука, и когда у меня формировались воспоминания о ней, я не знал, настоящие ли они, всамделишные, или я просто создавал ее такой, какой, мне казалось, сын должен помнить свою мать.

Именно о маме я думал, когда тоска давала о себе знать в полную силу. Об отце редко. Иногда я задумывался о том, а не мог ли он стать таким же, как другие отцы в деревне. Как мужчины, которых я видел в форме добровольных отрядов обороны, в футбольных бутсах на тренировках команды ветеранов, как мужики, ранним утром в выходной собиравшиеся возле охотничьего магазина в Саксюме, чтобы вместе поработать на чьем-то участке. Но его образ рассеивался, не вызывая горечи потери. Я принимал это, во всяком случае в течение многих лет, в качестве доказательства того, что дедушка старается делать все, что мог бы делать отец, и что у него это отлично получается.

У дедушки был нож – обломанный штык русского солдата. Рукоять из свилеватой карельской березы оказалась единственным удавшимся ему образцом тонкой столярной работы. Верхняя кромка лезвия была тупой – этой стороной он соскребал ржавчину и гнул стальную проволоку. А другую кромку держал заточенной настолько остро, чтобы резать ею аптечный пластырь и вспарывать здоровенные дерюжные мешки с известью. Раз – и белые гранулы сыплются ровной стружкой, ни одна не пропадет зря, и я могу выводить трактор на поле.

Острая и тупая кромки соединялись в кинжальное острие – им дедушка добывал килограммовых рыбин, которых мы таскали из озера Саксюмшэ. Он снимал этих мощных, люто бившихся форелей, злых из-за того, что приходится тонуть в воздухе, с заглоченного крючка с наживкой. Прижимал их к планширу, всаживал кончик ножа в черепашку, пробивая ее насквозь, и бахвалился тем, какая у них широкая спинка. Я всегда при этом поднимал весла и смотрел, как кровь стекает по стали ножа, вязкая, густая, а с весел, которые держу я, легко и споро скатываются капли воды.

Но все капли смешивались в одном и том же горном озерце. Истекая кровью, форели превращались в *нашу* рыбу из *нашего* озера.

В первый школьный день я отыскал парту со своим именем и сел за нее. Бумажный листок был сложен посередине и поставлен стоймя, и на обеих его сторонах было написано незнакомым фломастером «*Эдвард Хирифьелль*», как будто не только учителю, но и мне требовалось напомнить, кто я такой.

Я все время оборачивался, высматривая дедушку, хоть и знал, что он стоит где стоял и не уходит. Другие ребята были уже знакомы друг с другом, а я смотрел только прямо перед собой, на карту Европы и широкую доску, пустынную и зеленую, как Мировой океан. А потом еще раз обернулся, всего на секунду, но сумел разглядеть, что дедушка вдвое старше других родителей. Он стоял там, весь такой большой в своем вязаном свитере, и был старым, как Фритьоф Нансен на банкноте в десять крон. Они были похожи усами и бровями, и прожитые годы не тяготили деда – получалось так, словно они, приумножаясь, наполняют его лицо жизненной силой. Ведь дедушка не может состариться. Он сам говорил, что благодаря мне остается молодым, что ради меня он остается молодым.

* * *

Лица мамы и отца не старились совсем. Они жили на фотографии, стоявшей на комодке рядом с телефоном. Отец в брюках клёш и полосатом жилете облокотился на «Мерседес». Мама, присев, гладит Пелле, нашу норвежскую овчарку. Кажется, будто собака не хочет отпустить маму, не хочет, чтобы мы ехали.

Может быть, животные понимают такие вещи.

А сам я сижу на заднем сиденье и машу рукой, так что, наверное, снимок сделан в день нашего отъезда.

Мне все мнится, будто я помню, как мы ехали во Францию. Это память о запахе разогретой искусственной кожи сидений, о деревьях, мелькающих за боковым окошком машины. Еще мне долго казалось, что я помню и то, как по-особенному пахла мама в тот день, помню их с отцом голоса, заглушаемые шумом возникающего при движении ветра.

У нас сохранились негативы, с которых сделана фотография на комодке. Дедушка не сразу сдал пленку в проявку. Сначала я думал, что он тянет с этим, чтобы сэкономить, потому как после того, что оказалось последним фото мамы и отца, наступили Рождество, ловля рыбы сетью в разгар лета и выкапывание картошки.

Но на чем он, собственно, пытался сэкономить, так просто и не поймешь. Я думаю, дед тянул с проявкой, потому что с пленкой не знаешь заранее, какими окажутся снимки, пока не получишь их из лаборатории. Есть предчувствие, есть ожидание того, как выстроятся мотивы, и в этих ожиданиях мама с отцом жили дольше, покрытые эмульсией, – до тех пор, пока ванночка с проявителем не сделала их жизнь конечной.

Я верил дедушке, твердившему мне, когда я немного успокаивался после своих приступов ярости, что он собирается все мне рассказать, когда я достаточно подрасту. Но, наверное, он не заметил, как я подрос. Так что я узнал правду слишком рано, и тогда уже было слишком поздно.

Я тогда пошел в третий класс. Катил на велосипеде через хутор Линдстадов. Дверь была открыта, я зашел в нее и сказал: «Привет». В доме никого не оказалось – должно быть, хозяйка была в хлеву, – и я пошел дальше, в гостиную. На протравленном темной морилкой книжном стеллаже стоял стереокомбайн – крышка проигрывателя покрылась пылью. Атласы дорог, изданные Обществом автовладельцев Норвегии, пересказы романов в издании «Ридерз дайджест» и целый ряд книг в бордовых обложках, на корешке которых золотом написано: «*События года*». Каждому году был посвящен отдельный выпуск, и я понял, что в книгах дается обзор важнейших событий за год.

Понятно, что я совсем неспроста вытащил томик за 1971 год, а ежегодник словно сам хотел, чтобы я открыл его, и раскрылся на месяце сентябре. Страницы были так захватаны, что лоснились. Уголки листков истрепались, а у сгиба посерединке налипли тонкие полоски табака.

Мама и отец, на отдельных фото. Две простые портретные фотографии. Под снимками напечатаны их имена, а в скобках написано: «*Рейтер*». Я еще подумал, кто же такой этот Рейтер – мне ведь казалось, что раз речь идет о моих родителях, я должен бы знать это.

Написано было, что отпускники, норвежско-французская пара, *оба проживающие в Гюдбранндале*, погибли 23 сентября под городком Отюй на севере Франции. Они проникли на огороженное поле битвы времен Первой мировой войны, и их мертвые тела были обнаружены в реке. Вскрытие показало, что они вдохнули газы из старого снаряда, упали в воду и не сумели выбраться из нее.

В ежегоднике говорилось, что вдоль прежней линии фронта все еще остается несколько миллионов тонн взрывчатых веществ, и считается, что разминировать многие участки не пред-

ставляется возможным. За последние годы более сотни туристов и фермеров погибли, наступив на неразорвавшиеся боеприпасы.

Это я знал уже из дедушкиных скупых пояснений. А вот следующим в разделе *«Происшествия»* было написано то, чего он не говорил.

«Основываясь на изучении оставленных в автомобиле вещей, полиция сделала вывод, что у пары был с собой ребенок, мальчик трех лет». Но сразу же найти его не удалось, рассказывалось в статье, и была организована поисковая операция. Бывшее поле битвы обследовали собаки, погружались в воду водолазы, были задействованы вертолеты для расширения площади поисков, но все безрезультатно.

Следующим я прочел предложение, которое выжгло во мне детство. Это как когда я клал газетные страницы в печку: сначала можно было разобрать, что на них написано, хотя бумага уже загорелась, – но малейшее прикосновение мгновенно обращало их в золу.

«Четырьмя днями позже ребенок был обнаружен в кабинете врача в 120 километрах от места, откуда он пропал, в маленьком портовом городке Ле-Кротуа. Усилия полиции по расследованию дела не дали ответ на то, как ребенок попал туда. Предположительно, он был похищен. За исключением мелких ссадин, повреждений на теле ребенка не обнаружено».

С этого места речь опять пошла о том, как все произошло на самом деле. Было написано, что обо мне позаботились бабушка и дедушка из Норвегии. Я стоял и смотрел на книжные страницы и не мог оторваться. Пролитал дальше, чтобы посмотреть, нет ли чего еще. Пролитал назад – посмотреть, может, что-то написано о том, что было раньше. Выковырял табачную крошку из сгиба. Выходит, обо мне судачили. Доставали томик *«События года: 1971»*, когда соседи заглядывали на кофе, вспоминали времена, когда о ком-нибудь из жителей Хирифьелля писали в газетах.

Мою ярость невозможно было успокоить. Дедушка сказал, что больше ничего не знает, поэтому вопросы свои я задавал карельским березам в рощице, раскинувшейся недалеко от нашего хутора. Почему мама с отцом взяли меня с собой в такое место, где было полным-полно снарядов? Что им вообще было там надо?

Ответа не было, мамы и отца не было... их словно ветер разнес, как пепел, и я повзрослел в своем Хирифьелле.

* * *

Хирифьелль расположен с обратной стороны Саксюма. Крупные хутора лежат на другой стороне реки, где рано сходит снег, где солнечный свет ласкает бревенчатые стены и местную знать внутри этих стен. Ту сторону никогда не называют лицевой стороной, иногда только солнечной стороной, но чаще всего и вообще никак – только обратной стороне дано название по тому месту, где она расположена. Между двумя этими сторонами течет Лауген. Речная влага – это та граница, которую мы пересекаем, когда нам пора переходить в обязательную среднюю школу или когда нужно идти в центр за покупками.

Обратная сторона основную часть дня лежит в тени. Народ травит байки про то, что мы, живущие здесь, палим по фургончику, в котором торгуют рыбой, из винтовки системы «Краг» и связываем узлом обувные ремешки на пьянчугах, которые отсыпаются под снопами. Но дело в том, что хоть ты и вырос на богатом хуторе в Саксюме, ты едва ли можешь похвастаться парижскими манерами, да и навряд ли даже манерами областного центра Хамара. В телепрограмме *«По Норвегии»* никогда не показывали сюжеты из Саксюма. Что есть здесь, есть и в других деревнях. Закупочный кооператив, мануфактурный магазин, почта и кооперативный магазин. Сельская дорога, в полотне которой застревает машина медпомощи. Облезлые дома, а в них живет народец, определяющий сумму уплаты налогов на глазок.

Только администрация земельного комитета да телефонист знали, что вообще-то у нас целый день светит солнце. Ведь Хирифельль находится в месте, где наша сторона долины снова идет под уклон, образуя нечто вроде солнечной стороны с внутренней стороны обратной стороны. Среди леса, за шлагбаумом, – цветущий сад, где мы и жили сами по себе.

Дедушка любил полуночничать. Я лежал на диване, а он покуривал свои тонкие сигариллы и возился с книгами и пластинками. Кантаты Баха, квадратные коробочки со сборниками симфоний Бетховена и Малера под руководством Фуртвенглера или Клемперера. Книжный стеллаж, где вперемешку стояли растрепанные и новые книги. Из атласа мира Андре и мейеровской энциклопедии высовывалось так много листочков, что, казалось, изнутри в них прорастали новые страницы.

Вот в этом окружении я и засыпал вечерами – в полутьме, где время от времени щелкал, нарушая звучание музыки, кремень дедушкиной зажигалки. Потом он откладывал «Шнигель» в сторону, и я сквозь сон чувствовал, как дед поднимает меня на руки. Стены и потолок кружились вокруг меня, если мне удавалось чуть приоткрыть слипающиеся глаза, словно я был иглой компаса. Затем дед укладывал меня на постель, устраивая мои ноги и руки поудобнее, и накрывал периной. И каждое утро я видел его лицо: лампа из коридора освещала щетину на щеках и лихие усы, прожелтевшие от табака; он стоял рядом с моей постелью и улыбался – и я сразу понимал, что он смотрел на меня еще до того, как меня разбудить.

Единственная дедушкина странность состояла в том, что он не разрешал мне ходить за почтой. Задержки почтальона выбивали его из ритма, и каждый день в одиннадцать он начинал высматривать, не покажется ли на дороге из города красный почтовый фургон. Потом дед стал получать почту на почтовый ящик в поселковом центре, объясняя это тем, что кто-то сломал замок нашего почтового ящика.

Я выписывал разные торговые каталоги, прикладывая почтовые марки, и каталоги приходили. А за ними – комплекты для сбора музыкальных колонок, охотничьи ружья в каталоге «Скоу», товары для рыбалки в шведском каталоге от АБУ, фототехника, материал для изготовления рыболовных мушек... Каталоги приходили, и я узнавал из них больше, чем из школьных учебников. Окружающий мир был доступен мне через посредство деда: толстые конверты на нагретом сиденье автомобиля после его поездок в поселковый центр. И так продолжалось до бесконечности, пока в какой-то год он не вернулся с ежегодного собрания Общества овцеводов и козоводов и не сказал с порога, что придется нам забирать почту из почтового ящика – ездить в Саксум за ней слишком хлопотно.

Еще задолго до этого мы обрезали приклад у отцовского дробовика и отправились охотиться на уток. Это было ружье фирмы «Зауэр и сын», 16-го калибра, с горизонтальным расположением стволов. Отец получил его на конфирмацию², но вроде никогда не использовал. Пока я рос, мы наклеивали на приклад поперечные срезы от отделенной части, и в день *моей* конфирмации на прикладе из оранжево-коричневого орехового дерева были видны тоненькие бороздки, отмечавшие этапы моего взросления под крылом у дедушки.

Это были мои годовые кольца.

Но я хорошо знал, что годовые кольца у ели, если она растет слишком быстро, будут широкими, и, когда ель вырастет такой высокой, что ее сможет закрутить в вихре ветер, она сломается.

Всю жизнь я слышал из леса шелест листьев карельских берез. И как-то ночью в 1991 году это легкое колыхание переросло в ветер, чуть не сваливший меня. Потому что в истории моих родителей что-то еще не улеглось и продолжало потихоньку ворочаться, как жирная гадюка в траве.

² Конфирмация – у католиков и протестантов (в разных формах) обряд приема в церковную общину подростков, достигших определенного возраста.

II Летнее равноденствие

1

В ту ночь в Хирифьелль вернулась смерть. Было совершенно ясно, кого она собирается забрать, – выбирать-то было особо не из кого. Мне было двадцать три года, и когда я позже думал о том лете, то вынужден был признать, что смерть – это не всегда слепой и грозный убийца. Случается, что, уходя, она оставляет ключи.

Но дело в том, что обретение свободы бывает болезненным. Особенно потому, что день, когда это произошло, был не совсем обычным, не таким, в котором есть время трудовому поту и вечернему солнцу, не тем днем, который утомит дирижерская палочка Фуртвенглера. Как раз наоборот: накануне дедушкиной смерти кто-то намалевал свастику на его машине.

Всю неделю я с нетерпением ждал, когда же придет отправленная из Осло наложенным платежом посылка, и вот, наконец, узрел в почтовом ящике квитанцию. Я бросился домой напрямик по крапиве, срезав путь, и помчался дальше через двор. На ходу приоткрыл одним толчком дверь в сарай для техники. Сказал, что мне нужно сейчас съездить получить кое-что на почте.

Дед выпрямился, положив пассатижи на верстак, и сказал, что *нам* нужно бы заглянуть в закупочный кооператив.

– Поедем на Звездочке, – сказал он, отряхивая куртку от опилок. – Бензина сэкономишь.

Я отвернулся и закрыл глаза. Ну, ясно: один из тех дней, когда ему казалось досадным, если мы поедем каждый на своей машине.

На плохо гнущихся ногах дедушка засеменял по двору к дому, чтобы переодеться в свой пиджак для поездок по магазинам. В деревне не одобряли, что он носит с собой нож, так что, когда мы собирались туда, он обычно надевал пиджак, прикрывавший бедра.

И вот мы сидим в машине. В тяжелом черном красавце «Мерседесе», который дедушка купил новым в 1965 году. Лак поцарапан ветками по дороге на горное пастбище, вокруг замка багажника облупилась краска, а металл под ней проржавел, но на парковке в центре этот автомобиль все еще производил впечатление. Мы неторопливо ехали мимо картофельных полей, и каждый со своей стороны любовался их цветением.

Мы с дедушкой были фермерами-картофельниками. Да, мы держали овец, но *были* мы фермерами-картофельниками. Дожидаясь первых всходов, дед всегда худел. Хотя земельные участки на Хирифьелле располагаются на высоте 540 метров над уровнем моря, и насекомые – рассадники растительной заразы – редко забираются так высоко.

Дедушка был асом в картофельном деле и из меня тоже вырастил аса. Мы поставляли посадочный и пищевой картофель. Зарабатывали больше всего на миндалевидном сорте «Пикассо», хотя местная «Синеглазка» вкуснее. А вот «Беата» – это картошка для идиотов. Здоровенные безвкусные клубни, но народ жаждет именно этого. Сами же мы каждый день готовили себе на ужин «Пимпернельку». Этот сорт созревает поздно, зато мякоть у него плотная, а уж как славно выкапывать ее, поблескивающую красно-фиолетовой кожурой, из жирной черной земли...

Колеса задрезали по скотной решетке, положенной на дороге, чтобы там не могла пройти скотина, и дед не оглядываясь свернул на областную дорогу. Возле хутора Линдестада лес раздвинулся, и мы, как всегда, повернулись к реке и пригляделись.

– Лауген опустил, – сказал дедушка. – Можно будет ниже кемпинга рыбку половить.

– Хариус не клюет, когда вода такая зеленая, – возразил я.

Тут вокруг нас сомкнулись стволы елей, и мы снова увидели реку, только когда под колесами поплыло покрытие с добавкой вяжущих масел. Мы с ревом понеслись вниз по крутым склонам, и у меня слегка засосало под ложечкой, как со мной постоянно бывало, когда я приближался к Саксюму. Железнодорожная станция, средняя школа, лесопилка, скотные дворы на солнечной стороне... Чужие.

Когда мы въехали на дощатый мостик, в окошко пахнуло влажным речным воздухом.

– Ну что, сначала в кооператив? – спросил дед.

Если уж он первым делом заходил туда, то надолго. Дедушка по мелочам не закупался, так что оттуда мы никогда не уезжали без кассового чека в полметра длиной. «Мерседес» набивали так, что тот оседал на задние колеса.

– Хотя нет, пожалуй, – передумал дедушка. – Зайдем сначала за твоей посылкой. Точно, так и поступим.

И как только мы вышли из почтового отделения, я увидел свастику.

Я вообще-то разглядывал коричневую картонную коробку, на которой было написано мое имя, но почувствовал, что дедушкин размеренный шаг вдруг как-то резко прервался. Подняв голову, я увидел корявые красные буквы, намалеванные на его машине аэрозольной краской.

Я еще сразу спохватился, что именно так и подумал – теперь, когда машину изуродовала свастика, – *его* «Мерседес». А ведь до этого и весь тот день, и все годы до того дня думал об этом автомобиле как о *нашей* Звездочке.

Собрались зеваки. Засунув руки в карманы, они обступили доску с объявлениями о спортивных мероприятиях. Бёрре Тейген со своей супругицей. Бёйгардские дочки. Йенни Свеен и хафстадские парни. Они пялились на что-то над нашими головами – мол, не покрыли ли крышу почты новой черепицей.

Свастика подтекала. Тонкие струйки краски ползли по дверце машины.

Один из хафстадских покосился в сторону мануфактурного магазина. Мелькнула и скрылась пола пиджака, кто-то шмыгнул за угол. Единственное, что шевельнулось в Саксюме за эти замороженные вусмерть субботние секунды.

Дедушка рукой, как шлагбаумом, преградил мне путь.

Вот в этот момент у меня еще был выбор. Стану ли я теперь думать о машине, как о *его*, или встану на его защиту.

Деревенские смотрели на нас выжидательно.

И я снова выбрал дедушку. Как и всегда, а уж поводов хватало. Я оттолкнул его руку, бросил посылку на землю и пустился вдогонку. Несся стремглав, как вся моя жизнь неслась стремглав. Под людскими взглядами стрелой промчался через центр поселка, перебежал дорогу и выскочил на грунтовую дорогу позади бензозаправки «Эссо». Там я и нагнал его. Этот недомерок бежал неуклюже, прижимая прямые руки к бокам. Серая нейлоновая куртка развевалась у него за спиной.

Разумеется, мне следовало воспользоваться своим преимуществом, своей быстротой – забежать вперед и остановить его. Оказавшись с ним лицом к лицу, я одолел бы его одной своей статьей и притормозил бы, как тормозят футболисты, забив гол.

Но я сделал не то. Я подставил ему подножку, и он полетел лицом в гравий. Падая, заорал, и продолжал орать, уже лежа на земле. Я схватил его за куртку и развернул к себе лицом.

Бормотун.

Вообще-то его звали Бор Бёргюм, но он постоянно бормотал что-то себе под нос и в такт бормотанию кивал головой. В царапины на его лице набилась земля, из волос сыпался песок. Слезы смешивались с кровью из разбитого носа, с каждым всхлипом растекалась новая розовая

клякса. Пальцы и рукав куртки были выпачканы краской из баллончика, а в кулаке он сжимал листок оберточной бумаги, на котором карандашом была неумело начерчена свастика.

Я выругался про себя.

– Бор, – сказал я. – Тебе кто-то заплатил за это?

Он пробубльнул что-то непонятное.

– Нормально разговаривай, Бор.

Но нормально говорить он не умел. Я знал это.

Я попробовал помочь ему подняться. Но он завалился назад, плюхнулся на задницу и взвыл еще громче. Штаны у него порвались под коленкой. Серые такие штаны, вроде тех, что носят пенсионеры и шоферы такси. Бора всегда одевала его мать. Этот парень учился со мной в одной школе первой ступени, только был на пару классов старше. В те годы он мельтешил в такой же одежде, с косящими глазами и открытым ртом, перед специальным педагогом. Когда я перешел в среднюю школу, то Бора в девятом классе не обнаружил. Он был на другой планете.

Подошел народ. Они пристроились возле той рампы, где обычно меняли масло.

– Давай, Бор, – сказал я. – Вставай.

Он всхлипнул и отер кровь с губы. Поднялся на ноги. Я спросил, больно ли ему. Он принялся кивать. Я сунул ему бумажную деньгу, сказав, что это на брюки.

– Кто тебя просил сделать это? – спросил я.

– Так в книге было написано, – сказал Бор.

– В какой еще книге?

Он пробубнил неразборчивое.

– Если они к тебе снова придут, скажи, что мне нужно с ними поговорить. Сможешь так сказать?

– Что сказать?

Я отряхнул Бору спину. Он тупо стоял не шевелясь, и я пошел прочь от него, прямо к Эссо. Бейгардские дочки отвернулись. Их примеру последовали и хафстадские парни, а там и вся шобла рассосалась. Они побрели к сложенным в багажники мешкам с покупками и оставленным стынуть кофейным чашкам с остатками кофе.

Вот накинулись бы они на меня! Схватили бы за грудки, обругали бы, чтобы я мог им *ответить*, ввязаться в свару в центре Саксюма, прямо среди бела торгова дня...

Но чем именно я мог бы ответить? К тому же им уже надоело глазеть. Глазеть на разборку между отморозками, а теперь чего уж, все завершилось, и придурков, от которых можно ждать всякого, стало на две головы меньше.

Дедушка сидел на пассажирском месте. Он ничего не говорил. Не возился с окном. Сидел, и всё, как восковая фигура в немецком истребителе, и показывал на рулевое колесо. До намалеванной фигуры он не дотронулся. Не надо ходить к гадалке, чтобы понимать: Сверре Хирифьелль никогда не доставит сельчанам такого удовольствия, как попросить у них тряпку. Или пойти в магазин красок и купить линольки, надуваясь от благородного негодования и ворча что-то о хулиганских выходках мальчишек. Я думаю, он и слов таких не знал.

Я отворил дверцу. На парковке у кооперативного магазина народ не спешил расходиться.

– Не поедем же мы так, – сказал я. – Сейчас смою. Или сверху чем-нибудь заклею.

– Поезжай, – пробормотал дед. – Прямо в Хирифьелль.

Моя посылка лежала на заднем сиденье. Один угол коробки был сильно примят.

– Да садись же ты скорей, черт тебя дери, и езжай! – рявкнул дедушка. – Дуй напрямик. Прямо через центр. И на Хирифьелль.

Я поехал другой дорогой, и он не стал возражать. Спустился к зерновому элеватору и выехал на грунтовую дорогу, проложенную вдоль берега речки Саксюм-эльв. Шесть лишних километров, зато там никто не живет, и свастика обращена к отвесному обрыву.

– Это Бормотун был, – сказал я дедушке.

Но старик все так же смотрел на реку, и я посчитал, что он изо всех сил старается сделать то, что действительно умел: заставить себя забыть.

Небо за овчарней потемнело. Я прошел через двор и уселся на ступеньки крыльца своего домишки. «Мерседес» стоял под наклонным въездом на сеновал. Дедушка ушел к себе.

Мне никогда не нравились нытики. Почти все как-то разрешается. Этому помогают табак и кофе. Табак, кофе, ну и еще раскрыть карты. Если у тебя двойка трэф и тройка бубен, тогда что ж тут поделаешь – сегодня ты проиграл. Жаловаться можно, только если тебе достались четыре карты, когда ты должен был получить пять.

В воздухе пахло дождем, и я ждал его. Накатывающего вдоль склона долины сплошняком льющего шквала, очищающего все вокруг. Я хотел дождя, я хотел поставить вариться кофе, выйти на свою застекленную веранду, слушать, как капли барабанят по крыше, которую я сам и крыл, а самому сидеть в тепле, наслаждаясь кофе и сигаретой.

Я пошел к амбару и накрыл брезентом циркулярную пилу. На предыдущей неделе я заметил ветровые доски и доски стропил, и теперь оставалось только покрасить их. Этим я мог заняться после выходных.

Собирался дождь. Хороший дождь. Я чувствовал это по запаху. Не слишком резкий и не злой, а такой, который зарядит надолго и хорошо пропитает землю. Этим вечером я готовился отбуксировать поливальную установку на северное поле, но теперь это было ни к чему. Я скинул с себя ботинки и натянул грубые носки из шерсти. Пока в кофеварке булькало, убрал с кухонного стола. Вытер его тряпочкой и достал посылку.

Фотосервис Осло знал свое дело, и это было понятно даже в Саксюме. Коричневый скотч охватывал коробку туго и ровно. Мое имя было отпечатано на принтере и франкировано красивыми почтовыми марками, а бланк наложенного платежа был заполнен без сокращений.

Я вскрыл коробку, обнаружил в ней еще одну, и вынул из нее объектив, замотанный в мягкую белую бумагу.

«Лейка Эльмарит» 21 мм. Широкоугольный.

Тяжелый какой! Фокусировка тугая. Непостижимо меняющиеся цвета стеклянной насадки. Шелковисто-матовый лак, глубокие бороздки гравировок, показывающих настройки расстояния и диафрагмы.

Дедушка подарил мне «Лейку» на восемнадцатилетие. Камера М6, объектив «Суммикрон» и десять катушек пленки. Лучше фотоаппарата на свете нет, если только поблизости не окажется владельцев «Хассельблада». Единственное, что раздражало дедушку, – это что насечки расстояния вокруг объектива были указаны в метрах и футах.

– Вот уж это лишнее, – сказал он. – Люди с мозгами не будут мерить в футах.

Я покупал себе новый объектив каждый год, на сумму, которая большинству показалась бы запредельной, и для телевизора. Мир обновлялся с каждым новым фокусным расстоянием. Телеобъектив, притягивающий мотив ближе и ближе и оставляющий несущественное в тумане. Макрообъектив, благодаря которому в цветочный венчик можно было вместить целую планету. И вот теперь широкий объектив, распахивающий горизонты, превращающий среднее по размеру в мелочовку, а мелкое – в труху. Он требовал других мотивов, новых представлений о том, что может служить передним и задним планом.

Но в этот день я не заглядывал в видеоискатель. Потому что если б я поднес «Лейку» к глазам, то увидел бы только родное и привычное. Мою коллекцию комиксов о Фантомасе. Дверь в темную комнату. Музыкальный центр с самодельными стереоусилителями. Витрину с прочим фотографическим оборудованием. Фотографию Джо Страммера со съемок фильма «Прямо в ад». Огромный плакат группы «Аларм», для кавер-версии «68 Guns», где никто не смотрит в объектив. Полочку на стене, на которой выставлены мои собственные снимки природы.

Я знал, куда идти фотографировать. В березовый лес. Но только на следующее утро. И пораньше.

* * *

В свой отдельный домик я перебрался, когда мне исполнилось шестнадцать. К тому времени он пустовал – с той поры, как в нем жили мы с мамой и отцом. Я пинком распахнул разбухшую дверь без всякой мысли о том, что вот, мол, сейчас, прямо сейчас, происходит нечто историческое. Просто стал там жить. Заново обил стены изнутри да сколотил застекленную веранду, откуда я мог любоваться опушкой леса.

Домик был моим, но одновременно и нашим.

В нем еще оставалось кое-что из родительских вещей. Миксер, резиновые сапоги отца, постельное белье. Нашу совместную фотографию я не стал забирать из бревенчатого дома. Мне до сих пор казалось, что, проходя мимо, я должен ненадолго остановиться возле нее.

Когда я был маленьким, эта фотография являла собой надежду. Надежду на то, что мама с отцом все-таки не умерли. Позже она превратилась в напоминание о том, что они никогда не позвонят. Я долго пытался понять, почему дедушка поставил ее около телефона, а не повесил на стену. Чтобы вспоминать их или чтобы фотография воздействовала на нас, когда по телефону звонили мы? Или чтобы напомнить нам, что те, кто звонит *сюда*, пока они изыясняются с нами, не забывают историю моих родителей?

Бабушку звали Альмой, и только так я ее и называл. Она была тихой и немногословной, как старые напольные часы. Болезнь приковала ее к постели, и Альму забрали в Клёверхагенский интернат, а когда мне было двенадцать, – похоронили.

Иногда она заводила разговоры о маме. Бабушка рассказала, что во время войны мамин род прервался. Поэтому никогда не ставился вопрос об усыновлении по закону, поэтому не стоит ждать в гости родственников из Франции. Говоря о маме, бабушка не мямлила и не мялась, но меня это и не поражало. Потому что мои родственники со стороны отца тоже ведь насчитывали всего пару-тройку троюродных. Мы никогда не ездили к ним в гости надолго, виделись только время от времени на похоронах, после которых заходили в дом покойного на кофе.

И все же меня мучил вопрос: пусть мамина семья исчезла с лица земли, но не могли же пропасть *все*, кто ее знал?

Такие мысли занимали меня, пока старшие дремали после обеда каждый на своем диване, а я открывал атлас и изучал Францию, говоря себе, что *где-то* должен же кто-нибудь помнить о моей матери. Ведь она прожила почти двадцать семь лет. Я отыскивал Отюй. Читал то, что было написано в дедушкиной энциклопедии о Первой мировой войне. Представлял себе и деревню, и войну.

Время от времени мы ходили на кладбище. До самого надгробия из синеватого саксумского гранита долетал запах просмоленных досок деревянной церкви. «*Вальтер Хирифьелль. Николь Дэро*». Мама родилась в январе 1945 года, отец – в 1944-м. Оба умерли 23 сентября 1971 года.

Не дойдя немного до их могилы, я отворачивался. Расспрашивая о том, как повстречались мама с отцом, старался сдерживать любопытство. Не хотел слишком ясно представлять их себе. По тому, чего у тебя не было, не будешь тосковать, говорил я себе. Может быть, во мне таится какая-то природная сила. Голая земля не должна оставаться неприкрытой. Весь чернозем представляет собой раневую поверхность. Притягивает сорняки, которые прикрывают ее, разрастаясь.

Все-таки здесь, в нашем собственном домике, они иногда выходили из тени. Как-то я нашел долгоиграющую пластинку с французскими детскими песенками, и, когда поставил ее, в моих мыслях промелькнул образ мамы.

Я помнил наизусть все эти песенки. Пел французскую «*Frère Jacques*» вместо норвежской «*Fader Jakob*»³. И понятия не имел, о чем говорится в «*Au clair de la lune*» и в «*Ah vous dirais-je tatan*». Этот торопливый язык давался мне легко, и я сообразил, что, должно быть, в детстве лопотал по-французски. Мама пела вместе со мной, этот дом наполнялся нашими голосами.

Моим родным языком был французский, не норвежский.

В средней школе можно было выбирать между изучением немецкого и французского. Впервые получилось так, что пришлось, как мне казалось, выбирать между моими родителями и дедушкой, и я не стал рассказывать ему, что выбрал французский. Мамин язык вновь проснулся во мне к жизни – так быстро, что учительница подумала, что я подшутил над ней.

Потом я нашел и другие следы родителей – в огромной картонной коробке на чердаке. Косметичку, безопасную бритву, наручные часы... То, как эти вещи были свалены, рассказало мне, что убирать их было больно.

На самом дне лежала какая-то книга. «*Посторонний*» Альбера Камю. Я пролистал страницы, начав с конца, и задержался на каких-то предложениях, представляя себе, как мама сидит и читает эту книгу. И тут я вдруг вздрогнул от испуга, а вслед за этим во мне зародилось ожидание. Так бывает, когда увидишь на воде круги от всплывающей рыбы в месте, до которого тебе не забросить крючок. На первой странице, где печатного текста не было, синей шариковой ручкой было написано: «*Тереза Морель, Реймс*». Наверное, мама с этой Терезой дружили. Когда-то их руки держали эту книгу, одновременно или почти одновременно...

Я больше не являлся единственным доказательством того, что моя мать действительно существовала.

Тогда я начал строить планы посещения того места, где умерли мать с отцом. Чтобы посмотреть, не пробудится ли там что-нибудь в моей памяти. Ведь оставался в живых главный свидетель случившегося. Я сам. Где-то в моей памяти должно же храниться это воспоминание, как если б на фотографическую эмульсию когда-то попал свет.

Иногда эта потребность отправиться туда не давала мне покоя. Но мир заканчивался возле Сёре-Ол под Лиллехаммером. К югу от авторемонтной мастерской Хельге Менкеруда все было незнакомым, мне не хватало опыта путешествий, и я не мог придумать, что скажу дедушке. В его глазах вспыхнет обида – разве его мне было мало, разве он не делал все, что мог?

Будучи мальчишкой, я нуждался в дедушке, и хутор тоже в нем нуждался. Потом я вырос, у меня появились определенные трудовые обязанности в нашем Хирифьелле, и вскоре хутор и овцы стали нуждаться во мне. Чем дольше я оттягивал поездку, тем сильнее старился дед, и когда я достиг двадцати лет, два этих обстоятельства сошлись, так что одинаково трудно было и уехать, и остаться, – и с того времени все завязло в той трудовой колее, по которой я топтался, колее, которая становилась все глубже и привычнее.

* * *

Растворитель ее свел.

Свастика растворилась и впиталась в тряпку. Красноватая жижа, похожая на что-то заразное. От этого запаха кружилась голова, но я намочил еще лоскут. Отколупнул песчинку, прилипшую к лакировке, и стал тереть посильнее. Запашок легче воздуха заполнял легкие. Я бросил тряпку на пол и выскочил под дождик. Стоял и смотрел на припаркованную под рампой амбара Звездочку. Очертания свастики все еще можно было различить.

Я снова ступил в линолеумную вонь. Тер и тер. Шатаюсь, прошел через двор, поднялся по каменным ступенькам, вошел в дом.

³ «Братец Яков» (фр., норв.).

– Я ее смысл! – крикнул я.

Никакого ответа.

Часы с кукушкой показывали половину пятого. Пахло табаком, и я понял, что дед недавно стоял в коридоре. Я начал подниматься по лестнице, но на полпути остановился. Слышно было, как он ходит на третьем этаже. Что это ему взбрело? Комнатами там мы никогда не пользовались, там было холодно и пыльно. Я замер возле карты, на которой были обозначены наши участки.

– Я в деревню съезжу, – сказал я, обращаясь главным образом к лестнице.

Дедушкины шаги замерли. Потом он зашаркал дальше.

Центр деревни вымер. Я знал, что так будет: в сонливые часы между закрытием магазинов и ужином тут никого не бывает. Разве что тех, кто на своих машинах ползет через деревню еще куда-то на черепашьей скорости 50 километров в час – и пялится в окошко, довольный тем, что ему не придется жить в Саксюме.

Но они не знают, *что* у нас здесь есть.

А есть здесь место для нас. Место для меня, место для Карла Бренда, помешанного на электронике мужика пятидесяти пяти лет, все еще живущего в доме у своей матери, собирающего гениальные усилители и подъезжающего к киоску без пяти десять, чтобы за полцены купить бледные залежавшиеся сосиски.

Здесь наши недостатки на виду. Мы о них знали, мы пользовались этим, чтобы терзать друг друга, но молва спланивала нас. В каждом из нас был какой-нибудь изъян, и мы выискивали их в добродетельных, потому что именно изъянами деревня скрепляла свое единство.

Я объехал весь центр кругом и вернулся к Армии спасения. Не увидел ничего, кроме своего старого мопеда у бензоколонки и двух ребяташек, торопившихся куда-то с футбольной площадки. Я поехал назад, к Лаугену. Проезжая мимо школы, опустил окно и ощутил, как воздух становится прохладнее.

Услышал шум. Увидел воду. В бардачке нарыл кассету Дилана, оставленную Ханне. «*Knocked out Loaded*». Нам обоим она не нравилась, если не считать «*Brownsville Girl*». Но я ее все же поставил. Ханне была тут, в деревне, и когда зазвучала эта песня, можно было уже честно признаться себе в том, что именно Ханне я высматривал, кружа по деревне. Пару дней тому назад я видел ее перед мануфактурой. В светло-коричневой замшевой куртке. Как антилопа, со своими каштановыми волосами и длинными ногами.

Эта ее такая характерная подвижность. Может быть, это она меня увидела первой и юркнула в магазин одежды, куда я не мог за ней зайти в своей замызганной рабочей одежде. Секунду мы смотрели друг на друга. Следующую – уже нет.

Ханне из тех девушек, что рождаются уже взрослыми. Когда ей было четырнадцать лет, она тайком брала мопед брата и ехала ко мне, останавливалась у почтового ящика и сигналила фарами. Давала знак, как контрабандист с берега тяжело нагруженному суденышку в ночной темноте.

Мы с ней затащили друг друга в постель задолго до наступления официального возраста, но постепенно во мне созрело ощущение, что она пытается меня *спасти*. Что я такая промокшая дворняжка, которую она впустила в дом. Ханне долдонила слово, которое я презирал, – «*образование*». Принудительная стезя, обязательно проходящая через Осло, или Берген, или Ос, как если бы мы все обязаны были набрать что-то и принести это назад, в деревню, чтобы та не обанкротилась. Я не хотел, чтобы меня наполняли, как термос. Я вообще никому ничего не должен, так я считал. За исключением одного – отправиться во Францию. Но когда я сказал об этом Ханне, она задала встречный вопрос: *зачем?*

– Оставь эту затею, – сказала она. – Ты вернулся домой невредимым. Ничего ты не найдешь, кроме старых следов, которые будут тебя мучить. Ну что можешь выяснить *ты*, почти через двадцать лет, чего тогда не сумели выяснить *следователи-профессионалы?*

Это меня взбесило. Выбор слов. *Следователи-профессионалы*. Будто читает вслух по книге. Она преграждала мне путь, словно аккуратненький забор из штакетника. Но все же я не отправился во Францию, когда наши отношения разладились. Просто завел трактор и снова выехал на поле.

Прошли годы, но номер ее телефона все еще жил в моих пальцах. Код Саксюма, 84, и по диагонали вниз цифры ее номера на кнопках. Сегодня вечером, когда народ будет собираться на вечеринку, она узнает. От кого-нибудь, кто, открыв банку пива «Рингнес», растрезвонит обо мне. Девчонки собьются в кучку на диване, надушенные и подвыпившие, и будут искоса поглядывать на нее при упоминании моего имени – имени того, кто повел себя в центре, как дурак. Ну как к нему относиться? Хочет кто-нибудь выступить в его защиту, *может* кто-нибудь выступить в его защиту?

Вот подъехал «Таунус» Ингве. Он помигал фарами, и мы припарковали машины носами навстречу друг другу перед пожарной каланчой. Я опустил окошко и поймал себя за тем, что обзираю окрестности. А ведь так и есть – я *надеялся*, что кто-нибудь увидит меня с сыном аптекаря. Закончившим гимназию с таким количеством отличных оценок, что его прозвали Макси-Покером. Сам-то я окончил среднюю школу и на этом остановился.

– Лауген все опускается, – сказал Ингве.

Я всегда любил посидеть вот так, машина к машине, часиков в пять в субботу. Приподнятый зад голубого «Опеля Коммодор» GS/E и сияющая после надраивания двумя тюбиками немецкого полироля решетка радиатора «Автосол». Если в деревне у тебя есть знакомые, пять часов – это приятное беззаботное время. Время, которое не делает отличия между теми, кто работает, и теми, кто учится в школе, время, когда единственная разница между нами – это то, что он курит «Мальборо», а я – самокрутки. Ингве встречался с шикарной девушкой из Фованга по имени Сигрюн, но теперь он ее бросил, потому что она была «очень уж приставучая».

– Да Сигрюн вовсе и не приставучая, – сказал я.

– Ну, так уж получилось, – отозвался мой приятель.

Мы немножко помолчали.

– Просто странно это как-то, – заговорил я снова. – Все равно что не любить Брюса Спрингстина.

– Я не люблю Брюса Спрингстина, – сказал мой собеседник.

Мы обсудили, стоит ли встать в устье и ловить на муху и поплавок, или нам лучше настроиться на более трудоемкий поход на лодке с оттер-тралом. Я не спросил Ингве, собирается ли он потом на вечеринку. Очевидно, собирается. Такой уж он был, этот Ингве, – придет поздно, а народ сразу потянется к нему.

– Ну что, семь часов, – сказал я, взглянув на часы на приборной доске. – Поеду перекушу чего-нибудь.

Но мой товарищ не стал поднимать стекло окошка.

– Я слышал, тут какая-то заварушка приключилась, – сказал он, кивнув в сторону почтового отделения.

– Заварушка? – переспросил я. – Да просто совершеннейший раскардаш вышел.

Глядя на дверцу своей машины снаружи, Ингве стряхнул пепел с сигареты.

– А что болтают? – поинтересовался я.

– Да только, что он напрыскал там краской, а ты разозлился.

– Да уж конечно! «Этот гнусный тип из Хирифьелля поколотил бедняжку Бормотуна» – вот что они говорят.

– Ты же его не поколотил.

– А ты откуда знаешь?

– А вот болтают как раз, что ты его *не* поколотил. Что когда ты увидел, что это он, то удержался. Отряхнул с него мусор и отпустил с богом. Вот что люди говорят.

Я затынулся в последний раз и бросил сигарету в промежуток между дверцами наших машин.

– Люди знают, – сказал Ингве. – Люди знают, что он за человек. Что он в центре постоянно болтается. И что горазд на такие штуки.

– Ладно, встречаемся у заводи, – сказал я. – Поедем рыбки половим.

Вода для картошки вскипела ключом. Я снял кастрюльку с огня, высыпал в нее с кулак грубой соли и приготовил ровненьких пимпернелек. Побольше, чтобы хватило и на завтрашнее утро. Всегда жареная картошка с приправой для гриля и соленым салом, и по три яйца на каждого. Тогда мы сможем работать до того самого момента, как принесут газету, даже если ее принесут поздно.

На диване в гостиной похрапывал дедушка, положив ноги на пожелтевший «Лиллехаммерский обозреватель». Русский штык на столе. Потухшая сигарилла в хрустальной пепельнице. Должно быть, он заснул, не успев докурить.

Я взял плед с кресла перед телевизором и накрыл деда. Проверил по дозатору в комод, принял ли он лекарство. Пошел на кухню, достал венские шницели. Принес с огорода сахарный горошек и салат. Бланшировал горошек и накрыл кастрюльку крышкой. Крикнул в гостиную, что все готово. Дед не проснулся. Ну и ладно. Оживленная беседа все равно бы не завязалась. Я поел и встал из-за стола, дожевывая. А потом специально хлопнул посильнее дверью, ведущей в коридор, чтобы разбудить дедушку.

* * *

Проснулся я с «Лейкой» в руках. Скоро рассветет. А я от солнца с другой стороны.

Настал мой час. Время для «Лейки».

Я вышел из дома. Мокрая после дождя трава сильно пахла. С рыбьей требухи, которую я вчера вечером вывалил в крапиву, взлетела сорока. Четыре часа мы рыбачили на Лаугене, прямо под высокой черной горной грядой, где водилась форель, а потом перешли на место ниже по течению, где хариус нет-нет да и дернет неожиданно мушку. Мы хохотали, пили колу, курили и болтали, отмахиваясь от голубых выхлопов мотора «Эвинруд», и замолкали, когда наши окоченелые руки сдавливали тросики трала. Дома я тер пальцы под водопроводной водой, пока не почувствовал в них покалывание, после чего уселся с «Лейкой» в руках и уснул...

И вот я иду по картофельным полям. Ниже по склону сквозь дымку проступают очертания нашего хутора. Ярко светит фонарь на стене большого дома. Я окинул взглядом скотный двор и сарайчики для инструментов и техники и пошел дальше, к свилеватым карельским березам.

В детские годы я боялся подниматься сюда. Как-то весной я услышал доносившийся отсюда громкий треск, как будто кто-то стрелял из ружья. Дедушка тоже услышал этот звук, после чего выпрямился и посмотрел в сторону леса.

– Это железяки моего брата лопаются, – сказал он и снова нагнулся к тому, чем в тот момент был занят.

Никогда раньше я не слышал, чтобы он произнес слово «*брат*». Потом я выяснил, что этого брата звали Эйнар и что они не ладили. Во время войны они сражались по разные стороны фронта – дедушка отправился на Восточный фронт, а Эйнар – на Шетландские острова. Больше ничего о дедушкином брате не говорилось, только Альма как-то бросила вскользь, когда поцарапали стол в гостиной: «*Подумаешь, его же просто Эйнар сделал!*» Это ее точные

слова, и на мой вопрос бабушка ответила, что он был столяром-краснодеревщиком, в тридцатые годы работал в Париже, а убили его в 1944-м.

От него осталась столярная мастерская. Она стояла чуть в стороне – такая вытянутая избушка, покрытая облезшей красной краской. Окошки изнутри залепило пылью, и это было единственное дворовое сооружение, по периметру которого буйно разрослись сорняки. Но в тот раз это было ново для меня, и я не спросил про Эйнара – спросил только, про какие такие *железяки* говорит дедушка.

– Мой брат ставил металлические обручи вокруг стволов, – сказал он. – Теперь они заржавели. В это время года в деревьях бродит сок. Деревья растут. Треск, который ты слышишь, – это березы освобождаются, разрывая обручи.

Я не мог взять в голову, зачем Эйнару понадобилось мучить деревья.

– Держись подальше от этого леса, – сказал дедушка. – Могут осколки металла разлететься. А уж чего точно не увидеть глазом, так это что по воздуху несутся осколки металла.

И на лице у него появилось выражение, какое редко можно было увидеть. Оно и страшило меня, и в то же время вызывало во мне сочувствие – я так понимал, что это отголосок минувшей войны. Часто дед сразу замечал за собой это, и его взгляд менялся, выражение лица становилось чужим, он казался покладистым и немного неуверенным в себе, а потом мог вдруг слезть с трактора и спросить, чего бы мне хотелось на ужин.

Я заметил, что рад, что деревья не могут закричать, когда им больно, потому что иначе я никогда не смог бы заснуть, ведь окно моей комнаты выходило на целый лес вопящих деревьев. Но я сказал это лишь для того, чтобы дедушка остался мной доволен. Я даже не спросил, зачем Эйнар затягивал металлические обручи вокруг стволов.

А потом я прочел томик серии «События года» за 1971 год, и в те долгие часы, когда я злился, сам не понимая из-за чего, я каким-то образом оказывался в одной команде с Эйнаром, потому что тот не ладил с дедушкой. Как только проносилась первая гроза, как раз когда начал бродить в деревьях сок, я лежал, ожидая, как из березняка донесется треск. И однажды ночью мне подумалось, что я увижу Эйнара. Я выбрался из постели, осторожно прокрался мимо дедушкиной спальни и натянул на себя одежду, которую спрятал накануне в коридоре. А потом рванул в лес, оборачиваясь, чтобы посмотреть, не появится ли в окошке свет.

Земля была сырой после дождя. Я шел, и огромная луна рисовала длинные тени. Высоко на склоне я заметил зеленую листву, которая резко выделялась на фоне еловой хвои окружающих лесов. Подойдя к этому месту, я опустился на корточки. Густой подлесок разрисовал меня росой.

И вот я стою между стволами берез. Вокруг каждого дедушкин брат затянул обручи. Плоские полосы ржавого железа сдавливают белую бересту, а в высоко вознесшихся кронах шелестит море зеленых листочков. Лесная делянка была обширной, и уж точно на сотне берез были железные обручи. По пять-шесть на каждом дереве, на разной высоте. Должно быть, чтобы закрепить их там, Эйнару приходилось влезать на лестницу. Видимо, он собирался подгонять обхват обручей к ширине ствола по мере того, как деревья росли, потому что концы обручей соединялись длинными натяжными болтами, на которые были навинчены здоровенные гайки-барашки. Но дело такое, его застрелили в 1944 году, и он так и не вернулся, чтобы ослабить их. Большинство обручей проржавели насквозь и свисали со стволов, уже не стягивая их, некоторые вросли в дерево, а кое-какие свалились на траву под березами и были почти не видны в ней.

Зачем же он мучил деревья? Той ночью я долго стоял там, между белыми стволами, похившими на бесконечный ряд флагштоков, и пытался распалить в себе негодование против человека, который умер. Но как только я понял, что этим просто копирую дедушку, негодовать прекратил.

И тут позади меня раздался громкий треск. Я что было мочи понесся к хутору, по своим же собственным следам, оставленным мной, когда я поднимался к лесу, а вновь оказавшись под одеялом, лежал и все никак не мог отдышаться, и пришлось мне сделать то, чего я уже годами не делал: я прошмыгнул в спальню к бабушке, улегся на дно его платяного шкафа и стал смотреть вверх на свисающие с плечиков рубашки и штаны.

Я испугался, страшно испугался. Этот оглушительный треск в лесу пробудил во мне какой-то всепроникающий ужас и какое-то воспоминание, шевелившееся в глубине памяти. Мне мерещились далекие голоса. А потом, среди всего этого нечеткого и опасного, возник образ игрушечной собачки, такой явственный, что я подумал, уж не нафантазировал ли себе его. Она была сделана из дерева, с висячими ушками, и могла кивать головой и вилять хвостом.

Но действительно ли это было воспоминанием, или просто мне страстно хотелось так думать? Никакой игрушечной собачки у меня отродясь не было. Может быть, она принадлежала кому-нибудь, у кого мы бывали в гостях, а в памяти у меня все перепуталось... Ведь и *мы* тоже, должно быть, бывали у разных людей. Ходили в гости.

Были нормальными до того, как умерли.

На следующий день я задал вопрос учителю труда. Он отряхнул стружку со своего кожаного передника и сказал: «Карельская береза? Самый замечательный материал для столярных поделок в нашей стране. По происхождению это поврежденные деревья. Узор образуется, когда дерево само себя врачует».

Это его выражение, он так и сказал: врачует.

Я раньше никогда не слышал, чтобы учитель труда так говорил. Как правило, он распространялся только о том, как важно экономить материал, и о том, что нужно учиться точнее снимать мерки. А тут он юркнул в чуланчик и вернулся оттуда с маленькой дверцей от шкафчика, которая отливала золотистым светом. Узор на ней петлял, образуя игру теней и черных граней на фоне отсвечивающей янтарной желтизной древесины.

– Видишь, вот здесь; это шрам, – сказал учитель. – Дереву приходится заключить полученное повреждение в оболочку и расти дальше. Годовые кольца находят для себя обходные пути. Тянутся через рану. Какой образуется узор, предсказать невозможно. Только распилив дерево, можно увидеть, что получилось.

Мне хорошо давалась столярка – я умел и детали соединять так, что стыков не отыщешь, и вручную вырезать маленькие фигурки.

– Умение столярничать передается от поколения к поколению, – сказал трудовик задумчиво, и я почувствовал, как что-то меня зацепило, какая-то связующая ниточка, тянущаяся далеко за пределы Хирифьелля.

Я потом частенько навевывался в лес, но никогда не рассказывал, что хожу туда. Сидел там, смотрел на Эйнарвы деревья в невольничьих оковах. Это место стало моим и Эйнара, и, когда я ссорился с бабушкой, я представлял себе его брата. Что он появляется из березового леса и вступает за меня. Я сидел там и наблюдал за птицами, слушал, как шелестят деревья. Придумывал объяснения тому, что случилось во Франции. Представлял, что мать с отцом все еще живут где-то там. Как будто меня подменили другим малышом, а меня привезли сюда. Как будто я заразился опасной болезнью, такой, что у мамы с отцом не было душевных сил ждать, как она расцветет пышным цветом.

Позже я одну за другой умертвил все собственные небылицы. В последующие годы треск раздавался все реже – основная часть обручей лопнули под напором деревьев, – и постепенно все мои наваждения исчезли.

Бабушка сторонился лесной делянки. Было бы естественным, если бы он рубил лес на дрова, прореживал лес, следил за ним, но он никогда не приближался к нему и давал понять, что ему неприятна мысль о том, чтобы я собрался туда с пилой.

Но однажды случилось нечто такое, объяснение чему я смог найти только на много лет позже. Ночью, перед тем как мне исполнилось десять лет, я проснулся от какого-то гомона, после чего встал и вышел в коридор. Снизу слышался голос дедушки: он был сердит и сказал что-то, чего я четко не расслышал, но это было то ли «*я не желаю, чтобы меня этим донимали*», то ли «*я не желаю, чтобы его этим донимали*». Остальное было не разобрать в ожесточенной перепалке, и когда я услышал на лестнице дедушкины шаги, то поспешил назад к себе.

Из окна я увидел незнакомый автомобиль, услышал рев двигателя и голоса. Потом машина развернулась – отъезжая, она нарисовала красные полосы задними огнями.

Наутро дедушка рассказал, что среди ночи к нам постучались какие-то бродяги, которые стали нахально требовать того-сего. На кухонном столе у нас стояли торт и еда, которой хватило бы на горном пастбище на два дня. Это было задумано как сюрприз на мой день рождения, который мы и собирались там отметить.

Но пока мы ехали на пастбище, у меня создалось впечатление, что дедушка с бабушкой боятся проговориться о чем-то, а ночью мне приснилось, будто я стою, окруженный кольцом людей, хохочущих над чем-то, что написано у меня на спине, но скинуть куртку и посмотреть, что это, мне не дают.

Через пару дней после дня рождения я, как обычно, отправился в лес. Зайдя глубоко в чащу, почувствовал: что-то в этом месте нарушено, чуть ли не осквернено. И тут я увидел пни. Четыре дерева были повалены, а ветки с их стволов обрублены. Опилки были желтыми и свежими, из поверхности срезов сочился сок, вокруг жужжали мухи.

Я опустился на колени и пропустил опилки сквозь пальцы. Крупнозернистые, округлые, оставленные лучковой пилой с грубыми зубьями. Валяющиеся на земле ветки рисовали силуэт стволов, и по расстоянию между кучками опилок я видел, что деревья были распилены на куски длиной метра по два. В траве я разглядел следы бревен, которые протащили до склона, а там столкнули их, чтобы сами скатились к областной дороге. Браконьерской рубкой на дрова это не было, ведь другие деревья росли ближе к дороге. Тот, кто побывал здесь, знал, за чем пришел.

* * *

И вот я снова был там, на этот раз сжимая в кулаке «Лейку», среди этих высоких и стройных, как колонны, белых березовых стволов, обвитых ржавым железом. Некоторые уже вырвались на свободу, с тех пор как я был тут последний раз, другие сдались в борьбе с обручами и позволили им вырасти. Я поменял позицию, изучил направление, в котором падали тени, искал глазами мотив – и нашел его.

Взошло солнце. Я лег на спину и посмотрел вверх. В глазок широкоугольника я видел, как стволы тянутся к небу. Должно было хорошо получиться. Я *видел то*, что мне хотелось увидеть. Листву, облака, стволы и чужеродный элемент, железо – то, что призвано создать *фотографию*, а не просто картинку.

Обрывисто прошептал затвор. Так «Лейка» делает, когда поймает что-нибудь, что есть *сейчас*, и превратит во что-то, что было.

Я поднялся и прижал палец к лопнувшему железному обручу. Высосал капельку крови и пошел вниз к Хирифьеллю.

За кухонным столом дедушки не было. Это было первое, что я увидел.

Потому что он ведь должен был *там* сидеть, в своем синем рабочем свитере, с яичницей на плите, двумя чашками из-под кофе на столе, и просматривать вчерашний «Лиллехаммерский обозреватель». Он должен был *там* сидеть, такой же неколебимый, как бревенчатые стены за его спиной, – и, когда я войду, сложить газету.

Но стол был все еще накрыт к ужину. Вода в кувшине посерела от пузырьков воздуха. Горошины в миске сморщились. На сковородке лежали два засохших венских шницеля.

Я осторожно прошел в гостиную.

Он лежал под тем же пледом, ногами на газете. Я остановился посреди комнаты и подумал: вот оно, начинается.

Потому что дедушка лежал на диване и дедушка не спал.

2

У меня было смутное ощущение, что он давно уже в могиле. Во всяком случае, что машину больше водить не в состоянии. Но это *точно* был он, Магнус Таллауг, наш старый пастор. В том же матовом синем «Ровере», какой я помнил по занятиям подготовки к конфирмации. Автомобиль сумел въехать в ворота и покатил вниз, протарахтев по скотному мостику.

Я заткнул полы рубахи в брюки. Провел ладонью по волосам.

Пастор шурился за пыльным лобовым стеклом, не отрывая рук от баранки. «Ровер» остановился посреди двора, на том же месте, где стоял и катафалк. Дверца отворилась, пастор проверил устойчивость поверхности, потыкав в нее тростью, и выпростал из машины тщедушную ножку. В промежутке между носком и истрепанными штанинами костюмных брюк мелькнула светлым кожа, бледная, как снятое молоко. Священник выбрался из машины и огляделся.

– Поел бы ты, Эдвард, – сказал он, остановив взгляд на мне, и как бы отмёл по очереди скотный двор и сарай, как вполне здоровые объекты. – А то совсем некому будет обрабатывать землю в Хирифьелле.

Я осторожно пожал ему руку, обхватив ее целиком своей ладонью. Казалось, что кожа у Магнуса была на два размера больше его самого. Когда он открыл заднюю дверцу, оттуда потянуло запахом разогревшегося старого автомобиля. На потрескавшемся кожаном сиденье лежала затрепанная Библия с вываливающимися из нее страничками.

– Послание к Ефесянам, – пробормотал он, засовывая листочки на место. – Писание давно уже в таком виде, с новогодней проповеди пятьдесят шестого – я его уронил тогда на пол прямо под ноги Рейдюн Эллингсен. Она сидела в первом ряду и подремывала. С тех пор она крепко верует.

– Так это же и к лучшему для нее, – сказал я.

– Совершенно верно. Послушай, Эдвард. Так вышло, что я взялся летом поработать. Такая штука: выпускники теологического факультета имеют теперь право на отпуск. – Пастор переложил Библию в другую руку. – Я-то в свое время весь год без передыху трудился. Приходилось и перед крестьянами-безбожниками, и перед пустыми скамьями выступать, но мне-то деваться некуда было...

– Да, понимаю, – кивнул я, зная, что меня можно включить в любую из этих групп, выделенных по минусовому содержанию.

– И вот теперь мне выпало совершить похоронный обряд над Сверре Хирифьеллем.

Я смотрел вдаль, на поля.

– Послушай меня. Я понимаю, что ты не в себе, – продолжал Таллауг. – Но нам надо *сесть* и договориться, как мы распорядимся с преданием твоего дедушки земле. И я уже говорил, что тебе нужно поесть.

– Да, надо разобраться со всем необходимым, – согласился я.

На словах это выходило просто. Но раньше в этот же день все казалось вовсе не таким простым. Я стоял и неотрывно смотрел, уж точно с четверть часа, под тиканье напольных часов: смотрел на дедушку, на ножны с ножом из русского штыка, лежащие на столе, на аэрофото-снимок над диваном – снимок нашего земельного участка, который теперь стал моим.

Потом я сделал то, чего от себя не ожидал. Принес свою «Лейку» и, держа ее в трясущихся руках, сфотографировал дедушку в смерти.

Там, где он лежал.

Каким он был.

В уголках рта складки, каких никогда не было при жизни. Сухие глаза. Он – и все же не он. Как памятник себе и своей жизни.

Потом я сделал необходимые официальные звонки, в том числе в похоронное бюро Ланнстада, вернулся на первый этаж и стоял там, не шевелясь и обхватив руками «Лейку», и думал, что там, в аппарате, он не такой мертвый.

Только тут я увидел, что «грюндиговский» усилитель включен. На вертушке проигрывателя лежало первое действие «Парсифаля» Вагнера.

Дед всегда странно смотрел на меня, когда я просил поставить эту пластинку. Я поставил иглу на первую бороздку, и оттуда поплыла музыка, а я все стоял и смотрел на него, пока не заметил, что рядом появились люди.

Я вышел в коридор и услышал их разговор. Похоже было, что ленсман⁴ пытается предстать более сведущим, чем доктор. Они предполагали инсульт. Потом прошел час или два, когда я не замечал, был ли в доме кто-то еще или они уехали, пока не появилась Раннвейг Ланнстад с сыном. Уже три поколения семейства Ланнстад занимались организацией похорон в Саксюме, и поскольку сын имел рост метр шестьдесят и такой же ширины плечи, к нему прилипло прозвище «мини-могильщик». Я и сам так его называл в веселых компаниях, но сегодня, в тот час, когда этого человека свело со мной его занятие, это прозвище показалось мне дешевым и подловатым.

Они забрали дедушку таким, как он был. В той одежде, в которой он умер. Снесли его на носилках по каменному приступку, уложили в похоронный фургон. Мне казалось, что они слишком уж торопятся. Это ведь Саксум – можно не опасаться, что вдруг прикатят из другого бюро и будут убеждать меня в том, что сделают все лучше и за меньшую плату.

Потом они вернулись в дом и повели беседу о «поддержке» и «тяжелом часе», и не спешили уходить, пока я хоть немного не пришел в себя.

– А дальше что? – спросил я.

– Гроб-то есть уже, – сказал Ланнстад-младший, как бы стремясь продемонстрировать свою компетентность, но Раннвейг вперилась в него взглядом, и он умолк.

– Приезжай, когда почувствуешь, что в состоянии, – сказала она. – Тогда и поговорим.

Я посмотрел на диван, где уже не лежал мой дедушка.

– А он знал, что скоро умрет? – задал я новый вопрос.

Раннвейг нахмурила брови.

– Раз он выбрал себе гроб? – пояснил я.

Она собралась было сказать что-то. Перекинулась взглядом с сыном, и на какую-то долю секунды мне почудилось, что она раздражена. Но потом покачала головой.

– Приезжай, когда тебе будет удобно, – сказала Раннвейг. – Обсудим все по порядку.

Я не стал на этом заикливаться. Они вышли и включили освещение в кресте, установленном на крыше фургона.

– Подождите! – крикнул я. Сбежал в дом за русским штыком, открыл дверцы в торце фургона и забрался к деду. Свет проникал туда через светло-желтые занавески, и от этого его лицо выглядело более свежим – казалось, что он возвращается ко мне. Я расстегнул пряжку ремня и прицепил на место ножны с русским штыком.

– Ты состарился не до такой степени, чтобы пришлось помогать тебе одеваться, – тихо сказал я, пристраивая пряжку на затертое до темноты углубление в коже ремня и думая о том, что вот теперь, теперь дед поедет в деревню и никто не скривит рот из-за того, что он носит с собой нож. А потом я прошептал: «Спокойной ночи, дедушка», – так тихо, что и сам этого не расслышал.

⁴ Ленсман – исполнительный полицейский чин в скандинавских странах.

* * *

Все это крутилось у меня в голове, и, вероятно, я был в большей степени не в себе, чем сознавал, потому что старый пастор ухватил меня за плечо и громко произнес:

– Ну говори: туда или туда? – И он потряс Библией сначала в направлении бревенчатого дома, а потом моего домика.

Остановились на бревенчатом доме. Магнус напрямик отправился на кухню.

– Здесь, смотри, всё как раньше было, – сказал он, глядя на угловой шкаф с чучелом глухаря, на выкрашенную синей краской дверцу в кладовку и на дровяную печь. Подвинул табурет и подсел к обеденному столу с торца – видимо, поднаторел в таких делах, – чтобы не оказаться на том месте, где обычно сживал покойный.

– Я не успел убрать со стола, – сказал я и начал складывать посуду.

– Нет, постой-ка, – проговорил священник, легонько пристукнув тростью по моему запястью. – А во-о-он та тарелка. Она что, для Сверре?

«А то для кого, для кота, что ли?» – подумал я.

– Это ты ему ужин вчера готовил? Который он не съел? – продолжал расспрашивать Таллауг.

– Да я каждый день ужин готовил. Для нас обоих.

– Знаешь, Эдвард, я понял, что у него случился инсульт. Это... ну как бы это назвать... *этот инцидент* вчера в центре. Со свастикой. Ленсман знал об этом?

– Ленсман в Саксюме знает все, – ответил я.

– Ну и?.. Это как-то связано?

– Да ведь Бормотун не понимает, что делает. Какой смысл его обвинять? Дедушку и раньше задирали свастиками.

– Гм, – сказал пастор. – Сядь-ка покушай, Эдвард. Возьми его тарелку. Не позволяй Божьему творению пропасть понапрасну. Тем более что это последняя трапеза Сверре Хирифельля, которую он не успел вкусить.

Я разогрел дедушкины венские шницели и сварил кофе. Пастор достал носовой платок в тонкую фиолетовую полоску, высморкался и снова заговорил:

– Пока люди собираются, надо же, чтобы звучала какая-то мелодия. Но органиста нужно настроить на нужный лад. Он только выпустился из консерватории. Не понимает, что на похоронах надо уметь создать *душевный настрой*.

Таллауг оперся на трость и проковылял в гостиную, к полке с пластинками. Надел очки, прошелся по самым затрепанным конвертам. Согнувшись в три погибели, изрек:

– Трио-сонаты Баха, пока люди рассаживаются. А потом что-нибудь эдакое, чтобы искры летели.

Он вытащил с полки еще пластинку и, водя указательным пальцем по строкам, стал разбирать названия произведений.

– Может быть, Букстехуде... Вряд ли мы можем ожидать исполнительского блеска... тогда уж лучше выбрать что-нибудь во вкусе Сверре.

Что я и сам там буду, об этом он, похоже, не задумывается, подумал я. Что мне придется вынести всю эту музыку.

– А что, если «Погребальную масонскую музыку»? – предложил я. – Красивая.

– Моцарт? – уточнил священник из гостиной.

– Да. Мы же можем взять ее, хоть он и не был масоном?

– Будь уверен. Так и сделаем. Сверре разбирался в музыке, – продолжил пастор, пока я прожевывал покрывшиеся жесткой коркой шницели. – Ох уж мне все эти провальные орган-ные концерты в Саксюмской церкви, сколько таких было! В зале почти ни души. Можно было

написать в объявлении, что выступит Питер Херфорд, и никто и не знал бы, кто это. А вот твой дедушка обязательно приходил. Всегда садился на места, где самая хорошая акустика. Четвертый ряд, возле центрального прохода. А так никогда в церковь не заглядывал. Он тоже был творчески одарен, как и его брат. И – что сказать? Хорошая музыка приближает человека к Богу куда как успешнее, чем любой священнослужитель. Рассуждать о небесном многие умеют, но не многим дано осознать вечность.

Я принес кофейник.

– А вы когда в нашу деревню приехали? – спросил я. – Если, конечно, можно поинтересоваться.

Пастор ответил не сразу. Глаза его медленно прошлись по комнате. Он внимательно оглядел бревенчатые стены, посмотрел в окно.

– Я приехал в двадцать седьмом году, – сказал наконец Магнус. – Служил пастве в Саксуме пятьдесят пять лет. Венчал Сверре с Альмой. Крестил, конфирмовал – и, к сожалению, отпевал тоже – твоего отца. Я похоронил твою мать вместе с ним. Крестил и конфирмовал тебя. Но, наверное, вы с дедушкой не ворошили историю с твоими родителями.

Я смотрел в стол. Таллауг, казалось, примеривался ко мне.

– Он вчера вечером хотел поехать со мной на рыбалку, – сказал я. – Надо мне было попробовать разбудить его.

– Эдвард, не кори себя тем, что ты как-то иначе должен был вести себя в его последний день. Если посмотреть на жизнь в целом, то мы вообще по большей части ведем себя по второму разряду. Мы слепы и не видим того доброго, что кто-то готов нам дать. Мы вполуха слушаем человека, который наконец собрался с духом, чтобы рассказать нам что-то. Смерть не посылает извещений о своем прибытии за три недели до срока. Она придет, когда сосешь малиновые леденцы. Когда соберешься пойти косить траву. А сейчас вот она побывала здесь, сделала свое дело... Ты можешь утешаться тем, что еще не скоро снова с ней встретишься. Поэтому мне очень хотелось бы после похорон побеседовать с тобой еще и о твоих родителях.

– О родителях? – переспросил я. – О маме и об отце?

– Да. Когда тебе будет удобно.

– Конечно, может быть, я сейчас недостаточно прилично одет для серьезного разговора, – сказал я. – Но мы можем и прямо сейчас. Чтобы уж мне весь груз сразу получить.

– Нет, давай тогда подождем.

– Нет, правда, – настаивал я. – Что вы собирались мне рассказать?

– Хорошо, а много ли ты, собственно, знаешь о них?

У пастора были такие глаза, глядя в которые невозможно соврать. Я пожал плечами.

– Вопрос, скорее, в том, как много ты *хочешь* знать, – сказал он. – В процентном отношении, если можно так выразиться, за свою жизнь ты видел больше смертей в своей семье, чем видит столетний старик. Когда твои родители покинули этот мир, я не мог понять, как Господь может быть таким жестоким. Что-то в этом было чуть ли не ветхозаветное. Какой-то акт отмщения. Потом еще сумятица дней, когда тебя не могли найти... Сверре оставил трактор прямо на пашне и отправился напрямик во Францию. Купил авиабилет за космическую цену. Я молился за тебя по шесть раз на день. Одному Господу ведомо, где ты был, и я до сих пор вопрошаю себя, только ли Ему одному известна правда. Ну а потом тебя, стало быть, нашли. И я узрел божественный свет у прилавка с овощами в кооперативном магазине. Он освещал маленького мальчика и его дедушку. Я это рассказываю в утешение тебе, Эдвард. Ведь вышло так, что *ты* оказался спасителем Сверре Хирифьелля.

Магнус сказал, что это должно служить утешением, но мне что-то разонравилось направление, которое принял наш разговор. Создавалось впечатление, будто он беседует с председателем совета прихожан о каких-то других людях. Эдакая смесь пустословия и заботы о ближ-

нем, всегда служившая добрым христианам предложением для того, чтобы покопаться в чужой жизни.

Затем пастор начал рассказывать о послевоенном времени. Как тяжело моему отцу давалась жизнь на хуторе, потому что он винил *своего* отца и за имя, которым его нарекли, и за доставшуюся ему в наследство от отца ненависть односельчан.

– Вальтера на школьном дворе поколачивали, – рассказал священник, – за то, что его отец оказался не на той стороне. Когда ему было пятнадцать, он уехал в Осло и там нашел себе работу. Все послевоенные годы Сверре с Альмой варились тут на пару в собственном соку. Никогда не показывались в центре. В Саксюме на них показывали пальцем, плевали им вслед и злословили о них, даже и на церковном дворе.

До меня вдруг дошло, почему это наш старый огород здесь, в Хирифьелле, занимал такой большой участок. Почему все было устроено так, чтобы самим обеспечивать себя всеми продуктами, с курятником, хлевом для свиней и клетками с кроликами, со скотным двором, где держали коров, овец и коз. Почему Альма терпеть не могла ходить в магазин. Почему бабушка всегда покупал дорогие товары, предпочтительно немецкого производства, чтобы не приходилось ездить в центр чинить. Много лет они с бабушкой даже газету не выписывали, рассказал мне Таллауг.

– Я знаю, ты всегда считал, что в деревне питают злобу к Сверре, – сказал пастор. – Но ведь так было не всегда. Когда он принял тебя под крыло, все изменилось. В первый раз за двадцать пять лет он начал появляться в центре. Строптивный мужик, который взвалил на себя заботу о трехлетнем ребенке. Что бы Сверре Хирифьелль ни делал в годы войны, мнение о нем изменилось, когда люди стали видеть вас обоих вместе. Люди вдруг осознали, что Сверре Хирифьелль никогда не причинял зла намеренно. Никогда не выдавал участников Милорга. Да, он сражался на Восточном фронте, и то, что он предпочитает немецкое, было очевидно и по тому, какие он покупал тракторы и автомобили, – но больше-то ничего и не было. Так что потом уж редко кто его цеплял. Ну, бывало, обругают под горячую руку, когда по осени овец собирают или еще когда по мелочам, как и тут, когда Бор Бёргюм нарисовал свастику на дверце его машины...

Таллауг следил за моими движениями. Смотрел, как я режу картошку, внимательно приглядываясь к тому, как я тянусь рукой к солонке. На вилке у меня лежала горка горошин, но рука остановилась на полпути ко рту, и мы встретились взглядами.

Я не мог согласиться с тем, что речь шла о редких *мелочах*. Более чем что-либо иное, мою жизнь сформировало то, что на чердаке был спрятан немецкий «Маузер». Всю жизнь я заставлял бабушку готовым к обороне. Всерьез все это началось в средней школе. На уроке истории, когда наш учитель Халворсен сказал о бабушке то, что сказал. Или, скорее, он это сказал не о *ней*, но все в классе поняли, что каждое словечко относится к моему бабушке.

– Те, кто пошел сражаться за немцев, – сказал Халворсен, – может, просто не разобрались, что к чему. Но они предали законное правительство и пошли в услужение к фашистам.

Халворсен был нашим классным руководителем с седьмого класса, приезжал из соседней деревни. С первого же дня он показал себя человеком, никогда не сомневающимся в собственной правоте. Когда ему выпадала возможность вставить «*может быть*», он ею никогда не пользовался. На истории талдычил только о войнах, и особенно об *этой войне*. Стоял себе в своем сером форменном халате, обтянутый своей гадкой кожей, изъеденной экземой, и когда мог бы сказать «воевавшие на стороне немцев», неизменно говорил даже не просто «предатели», а «предатели Родины», пересыпая их «*изменниками Родины*», и с наслаждением распространялся о том, что слово *квислинг*⁵ после войны вошло и в другие языки.

⁵ Квислинг – изменник, предатель родины, сотрудничающий с национальным врагом; название дано по имени В. Квислинга, главаря норвежских национал-социалистов, содействовавшего оккупации Норвегии гитлеровской Германией в 1940 г.

Так он и долдонил, размахивая руками в белых рукавах, потому что отирал о рукава халата мел, этот мерзкий мел, которым он писал *правду*: «Тербовен», «НС», «освобождение», «осуждение предателей», те правдивые слова, которые покрывались брызгами слюны, когда его разбирали сильнее всего.

Если верить молве, отца Халворсена пытали. Но все равно. Будучи учителем, он мог бы вернуть пару слов о том, что эти люди были молоды, а выбрать сторону было нелегко. Что достаточно было таких, кто в 1945 году, когда это для них уже было безопасно, разом осмелели и с ножницами в руках кинулись ловить девушек, которые тоже ошиблись, и стричь им волосы налысо.

Но из истории Норвегии случившегося было не выкинуть. Класс 7-а в Саксьюмской средней школе не мог из 1940 года перескочить прямо в 1945-й только из-за того, что в классе сидел я.

Я помню день, когда меня прорвало. Как я сижу в своей колонке у окна – солнышко уже весеннее, асфальт обнажился, и скоро на Лаугене начнет сходить лед. Халворсен талдычит свое и искоса поглядывает на меня, посмотреть, не допекло ли меня еще.

– «Норвежский легион»⁶. Кто-нибудь может рассказать, что это такое было?

Я знаю, что многие подняли руку. Смышленные девчонки возле двери. Пара человек позади меня. Но Халворсен сказал:

– Эдвард, ты с нами?

С нами.

– «Норвежский легион», Эдвард. Что ты о нем знаешь? Я задавал это на дом.

– Что я знаю о «Норвежском легионе»? – отозвался я.

– Да, именно об этом мы и спрашиваем.

– *Мы?* – уточнил я.

– Что ты хочешь этим сказать? – спросил учитель.

– Что вы спрашиваете так, будто все в классе с вами заодно, – сказал я.

– Как бы то ни было, Эдвард. Что ты знаешь о «Норвежском легионе»?

– Я об этом знаю больше, чем вы.

– Отвечай по существу, Эдвард. Что ты, собственно, имеешь в виду?

– Что вам бы самому в нем оказаться, а то очень уж вы крепки задним умом.

И я пулей вылетел из класса, стараясь удержаться от слез, но уже в дверях все же разрыдался, и, когда бежал меж кирпичных стен коридора, плевать я уже хотел на то, слышит меня кто или нет.

* * *

Но не пенять же пастору на это сейчас. И поэтому я поспешил спросить совсем о другом, даже не задумавшись, удобно ли это. Вопрос выскочил из меня, миновав все преграды, как собачонка, только и ждущая случая, чтобы улизнуть за забор.

– А вы часто встречали мою мать? – спросил я.

Этот вопрос не застал священника врасплох. Он не стал ни щелкать суставами пальцев, ни тереть щетину на подбородке. Сказал просто:

– Нет, не часто. Когда я услышал, что Вальтер встретил девушку во Франции и возвратился на хутор, я приехал познакомиться. Николь, да. Она была не слишком разговорчивой. Застенчивой, помнится мне. Не торопилась оставить скотину и подойти, хотя и знала, что пас-

⁶ «Норвежский легион», Батальон «Норвежский добровольческий легион» или Добровольческий легион СС «Норвегия» – норвежское добровольческое воинское формирование, участвовавшее во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии.

тор уже на хуторе. Но зато когда она подошла, ну, ты знаешь... мне не забыть ее лица. Она всегда как-то оглядывалась вокруг, словно все могло вдруг измениться. Сторожкая, как косуля. Ты на нее похож. Рот такой же. Брови. Да и волосы у тебя ее.

– Я даже не знаю, как они познакомились, – сказал я.

– Да вроде бы она приехала как туристка.

– В Осло?

– Нет, мне кажется, они здесь встретились. Я знаю, что Сверре был очень высокого мнения о Николь. Альма-то мало что говорила. Вообще была более молчаливой, знаешь ли. Николь была... впрочем, давай-ка сосредоточимся на похоронах.

– А что за человек была мама? Расскажите.

Таллауг откашлялся, отвернувшись.

– Ну, да что тут, собственно, скажешь... Когда я увидел ее в первый раз, она знала всего несколько слов по-норвежски.

– А позже как?

– А?..

– Вы сказали – в первый раз. А в следующий что?

Пастор начал ковырять пальцем скол на кофейной чашке. Я наблюдал за изменениями его лица, не понукая. Выпрямившись на стуле, он пристально смотрел вниз, на стол, как будто там лежала Библия, с которой пастор хотел свериться перед проповедью, хотя и прекрасно знал, что там написано.

Больше он ничего не сказал.

Мне хотелось услышать о матери больше. Но расспрашивать других о том, какой же, собственно, была твоя мать, и больно, и стыдно.

– Вот насчет похорон, – сказал священник. – Ты про гроб слышал?

– Сын Раннвейг Ланнстад проговорился, – кивнул я. – Это что, дедушка сам себе выбрал гроб?

– Да, гроб уже долгие годы стоял наготове.

– Он никогда ничего про это не говорил.

– Потому что не знал.

Я с такой силой надавил столовым ножом на картофелину, что сталь звякнула, ударившись о фарфор.

– Он этого не знал?

Таллауг покачал головой.

– Так кто же это устроил? Альма?

Пастор почесал пальцем в уголке глаза.

– Эйнар. Он сколотил гроб для своего брата.

– На тот случай, если б дедушка погиб на Восточном фронте?

– Да нет, это было позже, пожалуй.

Магнус как-то смешался и принялся протирать очки тем же носовым платком, в который до этого высморкался. Я вдруг испугался, что у него начался маразм и он может напутать что-нибудь во время похорон.

– Скажи-ка, – вновь заговорил пастор, – ты вроде как фотографией увлекаешься?

– Да, – сказал я, не решившись спросить, откуда он знает об этом. Может быть, это дедушка про меня рассказал? Он что, знал, чем я занимаюсь в березовом лесу?

– Что-то в тебе есть и от Эйнара, – сказал Таллауг. – Он умел воспринять форму увиденного и воспользоваться ею в совершенно иной связи. В этом отношении Эйнар был совсем не похож на Сверре. Эйнар на свой лад истолковывал все происходящее, он был мыслителем и фантазером.

– Так, и когда же он сделал этот гроб? – спросил я.

Взгляд у пастора стал каким-то далеким. По его ответу было понятно, что мой вопрос прошел мимо его ушей.

– Эйнар, он для нас пропал, – сказал священник. – Два раза пропал. Лучший столяр-краснодеревщик в деревне. Один из лучших во всем Гюдбраннсдале.

– Даже считая Шок? – уточнил я.

– Даже считая Шок.

– Так он пропадал *два* раза?

– Гм, – сказал Таллауг. – Это так быстро не расскажешь. Времени-то сколько уже? – поинтересовался он, доставая еще один очечник и надевая другие очки.

– Скоро три, – сказал я.

– Мне надо быть дома в четыре часа, принять таблетки.

– Тогда я вам потом напомню.

– Напомни. Хотя, знаешь, мой пасторский трудовой день заканчивается только через четверть часа.

И Магнус повел речь о блудном сыне нашей деревни. Когда он говорил об Эйнаре, создавалось впечатление, будто он рассказывает и обо *мне*. Не совсем обо мне, но о таком человеке, каким я мечтал быть. Только карандаш для рисования сменился фотоаппаратом, а столярная мастерская – фотолабораторией.

Эйнар не проявлял интереса к обычному школьному образованию. В тетради, которую он вел на уроках подготовки к конфирмации, многие предложения были не дописаны, зато на полях пестрели наброски мебели, домов, городов и снова мебели.

– Что я мог сказать? – Пастор вздохнул. – Чтобы он прекратил это делать? Сказать так парнишке из Саксюма, в двадцать восьмом году мечтавшем освоить художественное ремесло? К счастью, родители признали его талант, хотя он по старшинству и должен был унаследовать хутор и работать на нем, и отправили его в Ерлейд учиться на краснодеревщика. Способности у него были выдающиеся, а жажда экспериментировать настолько сильна, что даже самым снисходительным педагогам казалось, что они не дают ему развернуться.

Через пару лет, продолжал Таллауг, Эйнару прискучило рисовать акантус и делать мебель на вкус местных толстосумов. И он отправился учиться в Осло, но так же быстро разочаровался. К этому времени Эйнар давно уже начал помечать свои работы изображением белочки, прикрывающей мордочку хвостом, и сохранил этот знак на всю жизнь. А в 1931 году, когда ему едва стукнуло семнадцать, он отправился искать работу во Францию.

– И больше мы о нем ничего не слышали, – сказал пастор. – Но позже мне довелось узнать, что он много лет проработал у Рульмана, одного из известнейших мебельщиков Парижа. Эйнар был одним из его лучших столяров.

– А он так долго жил во Франции? Я думал, он съездил туда на короткий срок...

– Не-ет, Эйнар стал настоящим французом. А что за время тогда было в Париже! Тогда еще и слово такое не придумали, но там расцвел стиль, который позже называли ар-деко. Я тогда подумал: «Вот и хорошо, Эйнар нашел свое место в этом мире». А за это время Сверре стал настоящим хуторянином, они с Альмой поженились и вели хозяйство в Хирифьелле, хотя к кому оно перейдет по наследству, так и не было определено. Скажи-ка, Эдвард, Сверре много рассказывал о тех временах?

– Почти ничего, – ответил я. – Мы начали вести отсчет времени, когда мне стукнуло четыре года.

Старый священник и кофе пил по-старинному. Опускал твердый кусок сахара под масляно поблескивающую поверхность, ждал, пока тот напитается жидкостью и станет коричневым, клал сахар между губами и посасывал его, а потом отливал кофе на блюдце и прихлебывал оттуда. Мне показалось, что и внутри него самого происходит нечто подобное. Таллауг тщательно что-то отсортировывал, чтобы оставалось только то, у чего был вкус сахара.

– Под самое Рождество тридцать девятого, – сказал он, – Эйнар внезапно появился в дверях и сказал, что собирается перебраться назад, в Хирифьелль.

Я забыл, что надо жевать. Это было для меня новостью. Эйнар стоял, должно быть, там, прямо в этих дверях. Я представил себе, что в руках у него был чемодан и изящно сделанный ящичек с инструментами, представил, как, должно быть, старики устали на него, когда он отвлек их от ужина.

– Появление Эйнара не особо обрадовало Сверре с Альмой, – продолжал пастор. – Во-первых, домой вернулся наследник первой очереди, не знакомый с сельским трудом, да и вообще не подходящий для ведения хозяйства. Эйнар редко отвечал на письма, не появился на похоронах своего отца, который, вообще-то, обеспечил ему возможность получить образование... Ну и его привычки, конечно. Тут мы имели дело с человеком, который уже в четырнадцать лет считал, что мы тут зажаты между гор и великим идеям у нас не развернуться. Представь себе это, добавь почти восемь лет в Париже тридцатых годов, а в довершение ко всему – отталкивающую самоуверенность. Не сказать, чтобы он презирал деревенскую жизнь, но вот были у него наручные часы, которые можно было перевернуть циферблатом внутрь, к руке. Жители Саксюма в этом не разобрались; они думали, что он носит браслет. Волосы у него были уложены каким-то странным образом, с завитками по лбу. А тут у нас Альма и Сверре, оба члены НС, вкалывают по четырнадцать часов в сутки. И все же Эйнар требовал немного – просил лишь выделить ему делянку в лесу, где он мог бы брать материал для работы в своей столярной мастерской.

– Он ее получил, – сказал я. – Как поля заканчиваются, выше них растет целый березовый лес, которые он мог использовать на доски.

– Они великолепны, правда? Эйнар начал культивировать такие деревья, когда ему было всего-то тринадцать лет. В пасторской усадьбе из такого материала сделана конторская мебель. Это я ее заказал в тридцать девятом году. Будучи верующим, я с осторожностью использую выражение «чудо Господне», но исходящее от столешницы сияние заставляет меня отказаться от привычной сдержанности. Мало что сравнится со сложной узорчатостью дерева в том, что касается непостижимости зримого. Смотреть на такой узор – все равно что смотреть на огонь: всегда проступает какое-то новое лицо. Я так и сказал Эйнару, когда он привез письменный стол. В ответ на это он стачал для меня шахматную доску, которую я храню по сей день. Белые клетки из свилеватой березы, черные – из ореха. Вот таким я и тебя вижу, Эдвард. Твой отец и твоя мать. Юг и север. Свет и тьма. Борются в тебе.

– Как это они во мне борются?

– На расстоянии это заметно, а в зеркале не увидишь.

Прямо Магнус ничего не скажет. Будто примеривается, сколько я смогу выдержать. Как глубоко в меня он может заглянуть? Тесно я с ним общался, только готовясь к конфирмации, и именно в те годы тоска по родителям сильнее всего терзала меня. В то время я на контрольных сдавал пустой листок и прогуливал школу. Садился на автобус и ехал в Винстру, оставляя школьный рюкзак на автовокзале. Добирался автостопом до музея рок-музыки в Отте и закупался не по средствам. Или, если машины шли в основном в южном направлении, мог добраться до шоссе Еб и попросить подбросить меня до продуктового ларька в Скюрве, а оттуда тащился пешком в промышленную зону и выпрашивал брошюры об автомобилях, рассказывая, что это для папы. Прогуливался по автоцентрам «Ставсет», «Скансор», по всем автомагазинам подряд. Придумывал себе отца, который ездит на «Ситроене Ди Спешл» или «Форде Гранادا», в зависимости от настроения. Или среди бела дня отправлялся в спортивный магазин «Мельбю» в Рингебю и разглядывал пневматические ружья, выбирал удочки и сочинял, что моя мать обещала подарить мне на день рождения пятьсот крон и я просто приглядываю, что купить на эти деньги.

Все это пастор, должно быть, замечал тогда, но теперь это уже быльем поросло. Мне удалось пережить ту стадию. Но вот чтобы это было *на расстоянии заметно?*

– А какими они были? – спросил я. – Эйнар и дедушка. Когда жили здесь вместе.

– С самого рождения они были совсем разными, – ответил священник и подлил себе кофе. – Но открыто это проявилось только весной сорокового.

– Когда пришли немцы?

Магнус медленно кивнул.

– Длинная темная колонна. Уродливые угловатые машины. Их послали разделаться со стоявшими возле Квама англичанами, но они боялись, что автомагистраль может быть заминирована. Поэтому понеслись мимо нашей деревни по верхней дороге на бешеной скорости. Проезжали прямо рядом с церковью. Я сидел в ризнице, и тут вдруг стены ходуном заходили.

Пастор развел руками и рассказал, что с хоров раздался оглушительный грохот. Триста сборников псалмов обрушились с полок. Он подумал, что, видно, настало время встать и встречать Судный день, а выйдя в центральный неф, увидел, что не удержались на своих местах и упали на пол запрестольный образ и распятие. Они висели на своих местах несколько сотен лет, пережили и Великое наводнение 1789 года, и лесной пожар 1748-го. А теперь запрестольный образ раскололся на мелкие куски, а крест переломился посередине. Иисус разделился надвое возле пупка, лицо его было размозжено до самой шеи, одна рука болталась. Таллауг услышал, что приближается следующая колонна, и выскочил наружу.

– И вот они идут, – рассказывал он. – Серые грузовики на гусеничном ходу, с железным крестом на борту. Церковь снова затряслась, люстра дребезжала, Иисус лежал на полу со сломанной спиной. Я поднял Спасителя на руки и бегом оттуда. Солдаты были напуганы, и полный грузовик пехотинцев направили на меня свои «Маузеры»⁷, так что затворы хором заклацали. Я протянул в их сторону Иисуса со сломанной спиной и крикнул по-немецки, что лучше бы им помедленнее ехать, если они все еще надеются на то, что написано у них на пряжках ремней: «*Gott mit uns*»⁸.

– Но их это, должно быть, мало взволновало? – сказал я.

– Еще как взволновало! Пойми, они же страшно боялись. Фронт проходил всего в нескольких часах езды отсюда. Хоть я и молодой еще был священник, но знал уже, что крестом можно и утешить, и напугать. Так что они притормозили и приставили солдат регулировать движение идущего мимо церкви транспорта. А вот мне надо было торопиться. Я подумал, что с началом войны даже мои прихожане потянутся к Господу. И если люди увидят, что образ, под которым их крестили, разбит, они потеряют всякую надежду. Я отнес распятие в церковь и запер его там. Затем прямо в облачении вскочил на велосипед и помчался сюда, в Хирифьелль, за Эйнаром. Они со Сверре сидели здесь, на кухне. Уже тогда я увидел, что согласия в братьях нет. Они громко спорили. Сверре был уверен, что немцы пришли, чтобы защитить нас от вторжения англичан. Эйнар говорил, что он будет следовать тому, за что выступают король и правительство. Я приоткрыл дверь и стал на пороге, держа в руках Иисуса, которому требовался столярный клей. Эйнар вышел ко мне, и я объяснил ему, в чем дело. Он сложил в рюкзак все инструменты и струбцины, какие у него только были в мастерской, и ночь напролет работал в церкви. Дерево сильно рассохлось, многих обломков мы не нашли. Он вырезал крохотные кусочки, мазал их клеем, смешивал краски... С невероятной скоростью вытачивал шпеньки размером с сосновую иголку. Собрал Иисуса по кусочкам, вернул ему лицо. Вот так. Немцы появились утром в субботу. А когда мы в воскресенье звонили к мессе, и образ, и распятие висели на своих местах. Эйнар отсыпался в ризнице, пока я вел службу, которая, как я потом

⁷ Имеется в виду магазинный карабин «Маузер 98k», самое массовое стрелковое оружие вермахта.

⁸ «С нами Бог» (нем.).

понял, удалась мне лучше всего на моем веку. Единственным, кого я не увидел в церкви, был Сверре.

Я закончил есть. Отодвинул от себя пустую тарелку. И почувствовал себя более одиноким, чем когда-либо. Это ведь я должен был рассказывать, это была история *моего* рода. Но моя жизнь была выхолощена вопросами, которых я так никогда и не задал.

– А когда Эйнар уехал на Шетландские острова? – поинтересовался я. – В каком году?

– В сорок втором.

– Но ведь дедушка тогда все еще воевал на Восточном фронте?

– Да. Эйнар покинул хутор всего за несколько дней до возвращения Сверре. Он собирался, видимо, уйти в Сопротивление. Я подумал, что это странно. Для Эйнара ведь войны не существовало. Да и идеалистом он не был. В дискуссиях всегда оказывался в тени брата, который вставал на собраниях и призывал к действиям.

– А вы какие-нибудь весточки о нем получали во время войны?

– Ни словечка. В сорок четвертом я узнал, что Хирифьелль будет переписан на Сверре. Тогда через немцев поступило извещение, что Эйнар застрелен во Франции. Вроде бы он участвовал в движении Сопротивления, но был казнен своими же. Это письмо еще хранится у меня, с немецким орлом и прочими прибабасами. Дата смерти Эйнара записана в приходской книге на строчках с расплывшимися чернилами. Да, я плакал, когда вносил эту запись. Но в семьдесят первом году я открыл ее снова, чтобы зарегистрировать смерть твоих отца и матери. Вот тут я опешил и начал рыться в архиве. С тех пор две вещи не дают мне покоя. Первое – это что Эйнар Хирифьелль был застрелен в Отюе, в том месте, где пропал ты и где погибли твои родители.

– *Что вы такое говорите?*

Таллауг насупил брови и поковырял в ухе.

– А второе – каким образом он ухитрился сколотить гроб после своей смерти. Может быть, в Эйнара и стреляли в сорок четвертом. Но вряд ли та пуля задела сердце или мозг. Потому что в семьдесят девятом году к похоронному бюро подкатил грузовик, с которого сгрузили невиданного великолепия гроб. Сделан он был из свилеватой карельской березы, а прислан с Шетландских островов. Поезжай в бюро, сам увидишь.

3

С областной дороги свернул белый «Опель Манта». Все лето никого не было. А теперь, когда он умер, – машина за машиной. Едут, потому что он умер, или *потому что* он умер?

Лучи фар пронизывали серый мрак, в их свете поблескивали мокрые кустики травы на откосах. Снова зарядил дождь. Впрочем, нет, не может же это быть *тот же самый* дождь! Подобные мысли приходили мне в голову с того самого момента, как уехал пастор, оставив меня вариться в собственном соку в большом бревенчатом доме.

Я высунулся из двери чуть подальше, пытаюсь догадаться, что *этому* тут надо. Только когда «Манта» подкатила совсем близко и «дворники» очистили стекло, я увидел, что это она приехала на машине своего брата, который сейчас служил срочную в Порсанге. Огни постепенно погасли, и она открыла дверцу, но осталась внутри. Из машины донеслась музыка. «Ковбой джанкиз», «*Blue Moon*». Мне эта ее манера была знакома. Умение продемонстрировать свое настроение, не произнеся ни слова.

Она выглядела красивее. Надела светло-желтое платье. Это не было похоже на нее. Пока она жила в Саксюме, то наряжалась редко. Потертые джинсы «Ливайс» и изящная, узковатая попа в них. Ни тебе осветленных волос, ни тебе косметики. Практичная одежда, обычно по моде прошлого года, купленная во время распродажи. Но бедра у нее были крепкими благодаря занятиям гандболом, в ямочке на шее в летнюю жару поблескивали капельки пота, и в нужные моменты она умела быть настоящей оторвой.

– Ну, входи, – сказал я. – Нечего там сидеть, чтобы показать мне, что ты можешь сразу уехать, если что.

Она прошла в гостиную, держась как у себя дома, и остановилась перед фотографиями в рамках, висящими над диваном.

– В этом году снимал? – спросила она, показывая на сделанный ночью снимок уличных фонарей в Саксюме. Как-то вечером я на лыжах «елочкой» взобрался на выступ крутой скалы, нависавший над долиной. В рюкзаке у меня лежали штатив и фотоаппарат. Установив «Лейку», я сидел там до темноты, ждал, пока не проедет одиночный автомобиль. Выдержку настроил на тридцать секунд. Центр купался в желтоватом свете, а задние огни машины получились длинной красной полосой, тянущейся к югу.

– Я сделал это фото два года тому назад, – сказал я. – Видишь, здесь нет еще новой пристройки к школе.

Телевизор был включен. Она выключила его и вышла на застекленную веранду.

– Кто тебе рассказал? – спросил я.

– А, один тип; сидел рядом с Гарверхаугеном в кафе на углу. Он ловил хариуса и видел, как по дороге позади деревни проехали сначала ленсман, потом доктор, а за ним и Раннвейг Ланнстад.

– А старого пастора он не видел?

– К тому времени он, наверное, уже перебрался в кафе. Скажи, Эдвард, как ты вообще себя чувствуешь?

– Да я справлюсь. Трудно только перенести эту дурь со свастикой.

– А я-то думала, ты уже перерос такие штуки, – сказала она.

– Я и не дерусь никогда, пока не услышу «наци» в третий раз, – отозвался я.

Мы и раньше обсуждали подобное. Деревенские праздники, где я вставал на защиту дедушки, что заканчивалось разговором между нами на повышенных тонах, а потом – перебранкой и ссорой среди ночи в зарослях кипрея по обочинам дороги. Тогда нам приходилось плестись домой пешком, потому что мне противно было видеть хари тех, кто предлагал подвезти нас.

Весной, когда она окончила школу, мы разошлись в разные стороны. Я отправился на картофельное поле, а она – в Осло. Завела новых друзей. Получала хорошие оценки на экзаменах.

– Что ты теперь собираешься делать? – спросила она теперь.

– Ханне, он еще не похоронен даже. Не начинай. Хотя бы сейчас.

Я знал: если это ее не остановит, у нас опять разразится ссора. Она будет повторять то, о чем уже много раз талдычила. Что я никогда отсюда не выберусь. Никогда не продвинусь в жизни. А сама-то?.. Да, конечно, уехав в Осло, она изменилась, но изменение это состояло главным образом в покупке ботинок с коваными носами и пятками, и в ношении обтягивающего джемпера под кожаной курткой. А под этой одеждой скрывалась девушка, уже нацелившаяся назад, в деревню.

Ее образование было как кольцо на проверенной освещенной лыжне, по средней дистанции, которая приведет ее назад, к надежному рабочему месту здесь или в соседней деревне.

Но кто я такой, чтобы ее критиковать? Неужели так и буду топтаться на месте с кислой миной, требуя многого от других и ничего от самого себя? У нее было право задать мне тот же самый вопрос, который я и сам себе задал сегодня днем, когда поставил вариться кофе и по старой привычке сварил целый кофейник: *что же мне теперь делать?*

Что-что... Посмотреть в окно. Поехать на тракторе окучить картофель. Поменять дизельный фильтр на новом тракторе «Дойтц». Подпереть расшатавшуюся стену сарая. Отвезти сольлизунец овцам на пастбище под горой. Заменить водосточные желобы на южной стороне скотного двора. Прополоть овощные грядки. Разобраться в том, почему двухколесный трактор не заводится в разогретом состоянии. Устроить дедушке похороны и опрыскать посеы против сухой гнили. Все это мне надо бы успеть сделать на ближайшей неделе, потому что следующая неделя остается единственной, когда я смогу заменить одно из окон в домике на горном пастбище, и то если погода позволит.

Лишь одно дело выбивалось из общей картины. Мне нужно было съездить к Раннвейг Ланнстад и увидеть гроб из свилеватой березы.

Ханне подошла ко мне и обхватила мою голову руками.

– Бедный мой, – сказала она. – По тебе ведь и не скажешь.

– Я-то замечаю, во всяком случае, – сказал я. – До печенок пробирает.

– Но на вид ты совсем не изменился. Может быть, ты уже так намучился, что новое страдание в тебя не лезет...

Вот только *этого* не хватало. Я вывернулся из ее рук, сел лицом к стене и заревел. Слезы полились, как из затопленного подвала. Как бы все могло сложиться, если б у меня *был* кто-нибудь! Каким парнем я мог бы стать, будь у меня родители, может быть, братья или сестры, молодежь вокруг, родственники, которым не жалко было бы тратить на меня свое время...

Руки и ноги перестали быть частью моего тела. Я чувствовал себя гигантским сердцем, раздувшимся бесформенным комком, выкачивающим из себя слезы, ждавшие выхода двадцать лет.

Я рыдал и ревел целый час. А когда всхлипывания затихли, я был так измотан, как если б пешком поднялся из деревни к горному пастбищу.

Ханне стояла и смотрела на меня. Никаких упреков. Никакого фальшивого сочувствия.

Только вопрос, который она наверняка тщательно обдумывала, пока училась в ветеринарном институте. Начинают ли парень с девушкой встречаться, потому что они действительно *подходят* друг другу, или же в маленьких биотопах вроде Саксюма они подцепляют того, кто свободен в данный момент, и дальше все идет по накатанной колее?

– Ханне, – сказал я. – У меня есть кое-что для тебя.

Я открыл горку и достал сережку с жемчужиной.

– Вот это да, – сказала она, протягивая руку за ней. – *Моя серьга*. После стольких лет...

Она подошла совсем вплотную, и все ее городские ужимки и манеру держать тебя на расстоянии как ветром сдуло. Я снова увидел в ней ту девушку, которая провела со мной здесь, в Хирифьелле, *то* лето. И вспомнил, что иногда она все же принаряжалась. Вот как в тот раз. Как-то летом, когда дедушка воспользовался тем, что он называл своей «канцелярской неделей», и уехал на ежегодное собрание Общества овцеводов и козоводов.

Дедушка уезжал летом на неделю с того времени, как мне исполнилось тринадцать. Я тогда должен был «один вести хозяйство». Для меня это было просто сказкой. Я ездил на велосипеде на Лауген ловить хариуса, готовил себе еду и не заводил трактор и не играл со спичками, потому что обещал этого не делать. Главное было оказаться дома между пятью и шестью: в это время дед звонил, чтобы узнать, всё ли в порядке на хуторе.

И вот, все лето с Ханне я только и мечтал, чтобы годовые собрания Общества овцеводов и козоводов продолжались по три недели. Ей тогда было пятнадцать лет, и весь последний год она своевольничала. Я помню каждый из этих денечков, до краев наполненный *нами*. Одни на хуторе, мы двое. *Тогда* она была нарядной. Мы просыпались, и между нами лежал наш полосатый кот Флимре. И мы, не сговариваясь, дружно изображали, будто это наш младенчик: у него были подходящие размеры, вес и тепло, исходящее от тела.

Мы были взрослыми, когда нам хотелось этого, и подростками, когда так было удобнее. Мы выработали общую манеру разговаривать, пили по утрам кофе, а вечером – пиво из погреба, покупали магазинное курево и делали по три затяжки на каждого от одной сигареты. Вообще-то, потом курильщиков из нас не получилось. Мы курили потому, что видели это в кино. И потому, что после секса подобало курить «Пэлл-Мэлл». Самокрутки свели бы все к простому совокуплению.

Я помнил, какая Ханне стояла, чистая и изящная, замотанная в простыню, на фоне окна на втором этаже, и я знаю, что она вбирала оттуда глазами вид с горы Хирифьелль, все эти просторы, отдать должное которым могли только глаза юной девушки или «Лейка»: сгибающиеся от тяжести ягод кусты красной смородины, выложенная плитняком дорожка, ведущая к омуту на реке, ручеек, бегущий между картофельными полями и пропадающий из виду за овчарней. Фруктовые деревья, стручки гороха, полумесяцами раскачивающиеся на лозе, когда проходишь рядом, растущие так буйно, что мы наедались досыта, не сдвинувшись ни на метр. Темно-синие плоды сливовых деревьев, кусты малины, тяжелые от ягод и только и ждущие, что мы наберем две полные тарелки и сбегаем за сахаром и сливками. Старый и новый тракторы бок о бок, с только что ополоснутыми из шланга колесами.

Я смотрел, как Ханне вбирает все это в себя. В Хирифьелле не было грязи, не было всего этого недоделанного, по чему из года в год привычно топтались деревенские, переставая замечать следы от трактора перед входной дверью, ржавые клочки сена, не кошенного десяток лет, и сочащиеся контейнеры с навозом на лужайке рядом с дорогой. Хирифьелль был образцовым хозяйством, с травкой, аккуратно постриженной вплотную к белому фундаменту дома, и покачивающимися на ветру качелями.

Хутором, в который Ханне могла бы вращаться.

Наверняка именно потому, что для нее было так непривычно наряжаться, она заметила пропажу сережки только в конце третьего дня. Теперь взяла ее и покатила между пальцами.

– Ты хранил ее все это время, – сказала она. – Надо же...

Я покачал головой.

– Она лежала у него в комод. В старой шкатулке для драгоценностей Альмы. Должно быть, он нашел серьгу и подумал, что она Альмина.

– Эдвард, ты что, начал разбирать его вещи? Уже?

– Чем-то мне нужно было заняться.

– Не обижайся, но пока рано.

– Надень сережку, – сказал я.

Ханне отошла назад и оперлась ступней о стену, так что ее голая коленка смотрела на меня.

– Даже и не думай, – сказала она. А потом склонила голову и обеими руками нацепила сережку...

* * *

– А вот скажи, – заговорил я позже, когда мы раскурили «Пэлл-Мэлл» на двоих.

– Что?

– Ты знаешь про Эйнара? Дедушкиного брата?

Ханне села в постели, держа сигарету вертикально, чтобы пепел не осыпался. Подула на прядь волос, закрывшую глаз.

– Того, что построил столярную мастерскую? – спросила она.

– Да. Я думаю, что он все еще жив.

– Но этого же не может быть.

Я рассказал про гроб.

– А сколько на самом деле лет старому пастору? – уточнила Ханне.

– Скоро девяносто.

– Ну вот видишь!

– Нет. У него с головой всё как надо. Полный порядок. Но он знает что-то о моей маме и не хочет рассказать. И об Эйнаре тоже.

Ханне отдала мне сигарету и встала с постели. Оделась, повернувшись ко мне спиной. При ней невозможно было упомянуть ту мою детскую историю. Как только чувствовала, что речь вот-вот зайдет о тех четырех днях в 1971 году, она сразу же переводила разговор на другое. Эти дни были для нее как круги на поверхности воды, где только что ушло на глубину морское чудовище. Отвернись и подожди немного – они и исчезнут.

Эта девушка существовала ради того хорошего, что могла дать жизнь. Ради солнышка на Пасху и красных лыжных гольфов. Ради блестящих серебряных украшений на нарядном костюме в национальный праздник 17 мая⁹.

Мы постояли немного во дворе. Ханне пальцем провела по каплям дождя на багажнике моего «Коммодора». Посмотрела в сторону бревенчатого дома, окно гостиной в котором светило желтым над кустами черной смородины. На третьем этаже тоже горел одинокий огонек. Должно быть, дедушка забыл выключить свет, сходяв наверх.

– Ты прав, – сказала она. – Давай начнем.

– Начнем что?

– Снимем его постельное белье.

– *Сейчас?*

– У тебя духу не хватит. Давай уберем там.

В старом доме уже пахло сухостью и затхлостью. Дверца холодильника была приоткрыта, а вилка вытащена из розетки. Это было единственной разумной вещью, которую я сделал после ухода пастора: достал еду из холодильника и перенес ее в свой холодильник, хотя она с тем же успехом могла стоять и в *его*, а я просто вынимал бы понемножку по мере надобности.

В ногах дивана в гостиной все так же лежала газета. На бумаге был песок, осыпавшийся с дедушкиных ботинок.

Ханне пошла наверх. Я слышал, как щелкнул выключатель, как заскрипели доски пола. Ее шаги. Гораздо более легкие, чем дедушкины. Вернулась она, неся в охалке огромную кучу постельного белья. Скользила боком вдоль перил, потому что не видела ступеньки.

⁹ День конституции Норвегии.

– Я и грязную одежду, которая там лежала, тоже взяла, – сказала она. – Стиральная машина по-прежнему в подвале?

Я как-то по-новому подумал о ней. О жизни с девушкой, которая бедрами нащупывает себе путь. Почему бы не выбрать то, что легко, то, что хорошо?

– Мы это выбросим, – сказал я. – Никто же не будет этим пользоваться.

– Почему это? Это же твоего дедушки.

– Это постельное белье мертвого человека.

Ханне помяла кончик простыни между пальцами.

– Льняное полотно, хорошего качества, – заметила она. – Если тебе не надо, я возьму себе.

– Ты что, серьезно?

– Сверре всегда хорошо ко мне относился, хотя и понимал, чем мы тут занимаемся.

– Вот как...

– Однажды я приехала сюда, а тебя не было дома, и он угостил меня мороженым с кроканом. Сказал, что приятно видеть на хуторе женщину. Хотя мне было всего четырнадцать и я ездила на мопеде, который брала без спросу.

– Я не могу понять, – сказал я. – Ты тут три года не появлялась. А теперь вдруг ведешь себя как дома.

Девушка пожала плечами.

– Ты приехала, потому что тебе меня жалко, – заявил я.

– Ну и что?

– Мне этого не надо, – сказал я, осторожно поднимая газету с дивана, чтобы песок ссыпался в сгиб между половинками. Потом плечом распахнул дверь на улицу и высыпал мусор, как если б это был пепел после кремации, как если б наш порог был планширом лодки, как если б наш двор был Атлантическим океаном.

* * *

Она принесла с собой свежий воздух. Откинула крючки на окошке в спальне. Распахнула двери, устроила сквозняк, впустила аромат мирного летнего дождика. Но я замечал не убирающуюся в доме женщину, а то, как она постепенно осваивает новые территории. Ее обстоятельность, казавшаяся такой по-бабьи надежной, уступила теперь место какой-то раскованности, словно ей открылся некий новый вид, потому что срубили заслонявшие его деревья.

Но когда она раздвинула дверцы занимавшего всю продольную стену гардероба в спальне дедушки, мне снова стало нехорошо. Темнота под рядами с одеждой затягивала в какую-то пыльную, древнюю, смутную глубину. Одежде не доставало тела.

Внезапно во мне всплыло какое-то ощущение. Воспоминание, о котором я не знал, истинно ли оно или нет. Мама, одетая во что-то синее.

Ханне протянула руки сквозь нечеткие тени в шкафу, и от вещей поднялся запах тлена. Она вывалила одежду на голый матрас. Белесые рубашки, майки в сеточку, рабочая одежда... Потом принесла еще охапку. Наморщила нос, склонилась поглубже и извлекла из шкафа черный тряпичный мешок, закрытый на молнию.

– Вот это да! – воскликнула она.

Даже мне было видно, что это богатый костюм. Плотная ткань без единой морщинки. Тонюсенькие светло-серые полоски на темно-синем фоне. Покрой, благодаря которому мужчина выглядит как владелец банка. Ханне отвернула обшлаг и показала ярлык: «Андреас Шиффер, Эссен».

– Эдвард, – сказала она. – А это не может быть костюм...

– Нет, – торопливо ответил я. – Папа был выше дедушки. И очень худым.

- Это дорогой костюм, – сказала Ханне. – В смысле, *на самом деле* дорогой.
Она достала пиджак и приложила его к моей груди. Я попятился, покачав головой.
– Ты уверен, что он не для тебя его купил? В подарок, например?
– Ни меня, ни дедушку одежда не интересовала. Да ты и сама так говорила.

Ханне пошарила в карманах. Подкладка матово блеснула в свете лампы, когда она извлекла из кармана голубой билет. Я склонился поближе, и мы одновременно прочитали по-немецки: «*Байройтский фестиваль*¹⁰. *Четвертая часть: Сумерки богов. Суббота, 30 июля 1983*».

Я вздрогнул всем телом, и моя подруга тоже. Она узнала дату. Значит, то время и для нее что-то значило. То лето, когда мы здесь были одни, а дедушка уезжал на ежегодное собрание.

То есть, получается, не уезжал. В свое время меня не удивляло, с чего бы это ежегодным собраниям Общества овцеводов и козоводов быть такими долгими. Когда он звонил, я, может, и дивился плохому качеству связи, но думал, наверное, что собрание проводится достаточно далеко отсюда, а гудение и потрескивание на линии – дело вполне естественное.

«*Сумерки богов*». Я помнил, как дед приволок с почты огромную посылку от Норвежского музыкального издательства, в которой лежали двадцать две долгоиграющие пластинки. Она обошлась во много тысяч крон. Острой стороной русского штыка он осторожно надрезал упаковочную бумагу, после чего поставил содержимое на стол в гостиной и сказал: «Вот видишь, Эдвард. “*Кольцо нибелунга*” – единственное музыкальное произведение, которое может устоять без подпорок».

Я выдернул костюм из рук Ханне, словно отбирая пиджак у вора, и покопался в карманах – проверить, нет ли там еще чего для меня.

В другом кармане лежало несколько билетов. «Страсти по Иоанну» в Ганновере. «Тангейзер» в Мюнхене. Торжественная месса под управлением Караяна, пять пьес Баха, исполненные на органе работы Гильдебранда в Зангерхаузене. Даты совпадали с теми числами, когда пустовал стул на ежегодных собраниях Общества овцеводов и козоводов.

Между выполненными глубокой печатью билетами на концерты лежала тоненькая скомканная квитанция. Написанное на ней почти полностью вылиняло, разобрать можно было только слова «*Отель “Вечерний покой”*». Такие названия бывают у пансионатов в Западной Норвегии.

– Может быть, он ездил на похороны, – сказала Ханне. Чтобы оправдать негласный обман, который мы обнаружили.

– Похороны тех, с кем он вместе прятался в окопах на Восточном фронте, хочешь ты сказать?

Она потеряла глаз.

– Ну какая разница?

– Только почему было не сказать об этом прямо? – не понимал я. – Что он хочет посмотреть, как дирижирует Караян, и поэтому уедет на неделю...

– Может быть, ему хотелось, чтобы ты почувствовал хутор своим, – предположила она. – Чтобы мы могли остаться здесь вдвоем.

– Или он просто хотел спокойно послушать «Тангейзера», – сказал я.

– Что ты имеешь в виду?

– Так странно... Все, что мы делали, мы делали вместе. Но это была лишь работа по хозяйству. Мы никогда никуда не ездили. Он как будто боялся, что я обнаружу что-нибудь, что оттолкнет меня от него.

– А есть что-то, что могло бы оттолкнуть тебя от него? – спросила Ханне.

¹⁰ Байройтский фестиваль – ежегодный летний фестиваль, на котором исполняются музыкальные драмы Рихарда Вагнера; основан самим композитором, проводится в баварском городе Байройт в специально построенном для этого театре.

Делает вид, что не понимает, что ли? В таком случае она постепенно занимает позицию того человека, который во время дедовых поездок оставался в Хирифьелле.

– По мне, так пусть Сверре отсутствовал бы и три недели, – сказала Ханна, погладив меня по руке.

– Ну, теперь он навсегда поселился в концертном зале, – отозвался я.

Я постоял еще какое-то время с его костюмом. Как будто держал в руках оболочку. Мне вдруг вспомнилось, как он ходил наверху.

– Вчера вечером он что-то делал на третьем этаже, – сказал я, положив костюм на стол.

И вот мы были там, в незнакомой мне парадной комнате. Коридор на третьем этаже всегда был темным, как шахта. Задернутые занавески, давно потухшие лампочки. Но теперь пустующая комната была освещена желтым светом абажура, свисающего с потолка, а в дальнем углу стояла раскрытая шкапулка.

– Сколько бумаг... – удивилась Ханне. – Наверное, он искал что-то.

Она подошла ближе и наугад порылась в море конвертов и листков. Квитанции за детали к тракторам, старые налоговые декларации...

– Тут какие-то диапозитивы, – сказала девушка, протягивая мне оранжевую пластмассовую коробочку с надписью «Агфахром».

– Тут только пустые коробки, – возразил я. – Он всегда вставлял фото в рамочки со стеклом. Они внизу, вместе с диапроектором.

Ханне посмотрела один диапозитив на свет.

– Ну, хотя бы в этой коробке есть и фотографии.

Я опешил. Дедушка не особо интересовался фотографией, хотя и помог мне продражаться сквозь все двести тридцать страниц руководства к «Лейке». Сам он пользовался только аппаратом «Роллей», изводя в год по одной пленке, неизменно в двадцать четыре кадра. Но Ханне достала из каждой коробочки по двенадцать фотографий, обрамленных в картон. Я вытащил перочинный ножик, выковырял саму пленку и посмотрел на нумерацию кадров.

Дедушка действительно изводил всего по одной пленке в год. Но в пленках было не по двадцать четыре кадра, как он утверждал. А по тридцать шесть. Последние двенадцать он использовал во время своей тайной недели за границей.

Так вот почему мы никогда не смотрели диапозитивы, снятые в определенный год, сразу же... Когда к концу лета прибывала бандероль с фабрики «Агфа» в Швеции, дед всегда просил меня подождать, потому что ему нужно было подняться к себе и вставить фото в стеклянные рамки. Мы не халтурили. Мы доставали проектор, задергивали занавески, и в конусе пыли между нами и экраном созерцали год, прожитый нами совместно.

Ханне передавала мне диапозитивы по одному. Дедушкины фото с воли соответствовали билетам на концерты. Дочиста выметенные тротуары и фахверковые здания ратуш. Оперные театры, кулисы в Байройте.

Я представил себе его. В ту единственную неделю в году, когда он мог разгуливать по Германии и либо понимать происходящее вокруг, либо чувствовать себя понятым, одетый в коково-серый костюм от Андреаса Шиффера осанистый мужчина шестидесяти с чем-то лет, в окружении таких же, проигравших войну.

Мы просмотрели все остальные коробки. Похоже, все фотографии сделаны в Германии. Только одно фото было иного рода. На нем стоял номер 18b, и оно так отличалось от остальных, что, казалось, снято другим фотографом. В какой-то год, неизвестно какой, дедушка сделал один-единственный снимок пустынного невыразительного участка побережья с маленьким островком на горизонте.

– Эдвард? – тихонько позвала меня Ханне.

– А?

– Посмотри.

Я поднялся с пола и выхватил у нее из рук пять конвертов. На них дедушкиным аккуратным почерком было написано «Вальтер». «Николь». «Альма». «Эйнар». «Эдвард». Все конверты, кроме моего, были заклеены. Эдакие подарочные пакеты для умерших.

– Откроем? – спросила Ханне.

Мне казалось, что я держу в руках пять боевых патронов. Мамин конвертик был совсем тонким. Отцовский гораздо тяжелее. В конверте с надписью «Альма» что-то перекатывалось, какая-то книжечка, может быть.

– Ты весь в поту, – заметила Ханне. – Ты себя как чувствуешь?

Я ощутил ее прикосновение, но единственное, о чем я думал, были пять этих имен. Дедушка приготовил эти конверты когда-то давно. Ждал момента, когда я достигну определенного возраста.

Или когда он достигнет.

– Пойдем вниз, – сказал я и положил конверты на стол.

Когда мы выходили из комнаты, Ханне обернулась в дверях. Казалось, она ищет повод, чтобы задержаться тут. На втором этаже снова направилась в дедушкину спальню.

– Что тебе там надо? – спросил я.

– Так, мысль одна пришла в голову, – ответила девушка, начиная рыться в платяном шкафу. Мне было не видно, что она делает. Я слышал только, что Ханне переставила картонную коробку, а потом до меня донеслось шуршание папиросной бумаги.

– Смотри, – сказала она, подняв в руках свадебное платье. – Посмотри на эти кружева. Какая работа! С ума сойти.

– Это, наверное, Альмино, – предположил я.

Ханне прихватила двумя пальцами рукав и натянула ткань потуже, затем откинулась телом назад и приложила платье к себе. Посмотрела сверху на себя, на то, как платье облегалось ее грудь.

– Закрой глаза, – сказала она.

Я собрался было сказать «нет», но все-таки сел на кровать дедушки с закрытыми глазами. У меня было такое ощущение, будто я отправился в дорогу по пути, с которого невозможно свернуть. Я чувствовал, как что-то стучится из самой глубины моей памяти. Что-то неподобающее, что-то касающееся нас двоих.

Я слышал, как упала на пол одежда Ханне, слышал шуршание хлопка по коже и шелест шелковой ткани, слышал, как она сначала задержала дыхание, потом выдохнула, а за этим последовал шепоток ткани тонкого переплетения, перемещаемой внутри комнаты.

– Посмотри на меня, Эдвард.

Она стояла, склонившись надо мной, словно хотела сесть на меня верхом и взять меня так: лицо, черты которого было не разобрать за мелкаячеистой вуалью, туго натянутая на ключицах кожа, белый тюль на груди, волосы волнами по щекам...

Я попытался не показать своей растерянности, выдав ее за возбуждение.

Ханне выпрямилась, и внутри у меня защемило, потому что я знал, что она скоро, совсем скоро, будет стоять вот так. Пройдет от дверей к алтарю по проходу Сакс്യомской церкви, и я мог бы быть тем, кто будет ждать ее там. С этого момента я стал бы фермером-картофелеводом Эдвардом Хирифьеллем навсегда.

– Надень костюм, – шепнула Ханне.

Мы стояли рядом – я в костюме от Андреаса Шиффера, а она настолько поглощенная отражением в зеркале, что не шелохнулась бы, загорись дом.

– Представь, – сказала Ханне. – Как мы с тобой могли бы быть *ими*.

– Нет. Я не могу себе этого представить.

– А ты постарайся. Это ты. Каким ты можешь быть.

В том-то и дело. Она хотела заполнить меня, но не таким, какой я есть.

Я видел нас в зеркале. Видел, как она поглощает это мгновение словно марципановый торт. Видел, как мои собственные глаза пожирают мое же отражение.

Пахнуло вечером. Из окна дедушкиной комнаты я смотрел, как скрываются из виду задние фонари ее машины. Всмотрелся в полутьму, окутавшую хуторские строения и поля. В возлюбленных у меня была гусеница, а теперь улетела бабочка.

Я подошел к шкапулке и разложил конверты веером.

«*Николь*». Заклеен желтым скотчем.

«*Вальтер*». Такой же скотч.

«*Альма*». Заклеен скотчем посвежее.

«*Эйнар*». Заклеен пищевой пленкой.

Сначала я заглянул в свой. Карта прививок. Табель с оценками за начальную школу. Заявление о нанесении материального ущерба после драки в Венахейме, когда я попортил дверь. Свидетельство о крещении. Буквы, вколоченные в бумагу на пишущей машинке, гласили: «*Эдвард Дэро Хирифьелль*». Но этого же не может быть? В налоговой декларации и во всех других случаях, когда властям нужно было от меня что-нибудь, писали просто: «*Хирифьелль*».

Подпись я узнал. Вся история нашей семьи, вытекшая из авторучки старого пастора.

Я отложил конверты в сторону и взялся листать бумаги, касающиеся хозяйства. Хотел найти что-нибудь, написанное дедушкой, что-нибудь, свидетельствовавшее о том, что дедушка был дедушкой и оставался им. Человеком с непоколебимой верой в необходимость поддерживать безупречный порядок в личном архиве и корреспонденции при помощи пишущей машинки «*Адлер*».

«*Трактор/насадки 72–75*». Руководство по эксплуатации кормоизмельчителя, который мы свезли на свалку в позапрошлом году. Светокопия рекламации на наш старый трактор «*Дойц*», отправленной на станцию техобслуживания тракторов в Фрун. За неделю до истечения гарантийного срока он начал застревать на заднем ходу.

«*Я купил у вас “Дойц” одним из первых и с тех пор всегда был верен этой марке; собираюсь и в дальнейшем приобретать эти тракторы, если досадная проблема с передачей разрешится к обоюдному удовлетворению*».

Картофелекопалка, каждый божий литр дизельного топлива для сельхозтехники, тракторные насадки, купленные на ярмарке в Отте. Квитанции от продажи посевного картофеля винокурне в Стране. Шкапулка была полна до краев. Задумывал ли дед использовать сто кило старых бумаг в качестве баррикады от моего любопытства? Пока не смирился с неизбежным и не запер шкапулку вчера вечером?

Перочинным ножиком я вскрыл конверт Альмы. Рассказанная в письмах история продолжительной болезни. Результат рентгеновского исследования. Копия письма, отправленного ею районному терапевту.

А вот и счет после ее похорон. Кофе и булочки на пятнадцать человек в Саксюмском пансионате.

Толстенная книга для записей, которой бабушка пользовалась, по всей видимости, почти десять лет. Она завела ее в апреле 1961-го, а последняя запись была сделана в 1969-м. Я пролистывал год за годом. Больше всего записей посвящалось хозяйству. Посевной и сбору урожая. Ягнению и забою. Какие-то цифры мне сначала были непонятны, пока я не увидел, что это ее вес, каждый месяц.

Я помнил ее кожу, ее передник из грубой синей ткани. Когда-то она была дамой, умевшей сохранять стройность фигуры.

На последних страницах Альма записывала дни рождения и номера телефонов. Некоторые имена были зачеркнуты, а рядом другой ручкой написано: «*Умер*».

Я пролистнул дальше. В записях за 1967 год бросалась в глаза одна строка. Она была написана поперек листа, с самого края, так близко к металлической скобке, что чернила окрасились ржавчиной.

«Эйнар: Леруик 118».

И это она записала в 1967 году? И никакого тебе «Умер». Хотя вся история нашей семьи раз за разом утверждала, что Эйнар погиб во время войны.

А не могло ли число 118 обозначать почтовый индекс Эйнара?

Я отложил книгу для записей в сторону, выдвинул ящик и вынул из него несколько обтрепавшихся бумажных свертков. Они были связаны бечевкой, а на листах белой бумаги, в которые их завернули, карандашом был начеркан год. Совершенно одинаково с 1942 года до наших дней. Дедушкина жизнь не помещалась в книгу для записей.

Так и сидел я на холодном полу – и пролистывал с конца хирифьелльскую жизнь. Все более темные годы. Отказ в возмещении ущерба от пожара на горном пастбище. Приговор по делу об измене родине в 1946-м. Я вскрывал раны, нанесенные в войну. Членские билеты в партии «Национальное единение». Толстая пачка конвертов, скрепленная иссохшей резиновой лентой. Свастика, орлы и штампы цензуры. Не меньше сотни. На многих наклеены красные почтовые марки с изображением солдата в немецкой каске и надписью «*Норвежский легион*». Стоимостью 20+80 эре. 20 эре почтового сбора и 80 эре на доброе дело. Я по диагонали просмотрел пару писем от его однополчан. *Фельдфебель Харалдсен* благодарил дедушку за полную отдачу сил.

Я отложил письма в сторону. Услышал, что снизу мяукает Грюббе. Он прошелся по дому и зашел в комнату деда. Вскочил на диван, огляделся.

– Он умер, понимаешь, – сказал я, после чего взял кота на руки и пощекотал ему животик. Грюббе был сейчас нашим единственным животным – здоровенный лесной кот с такой длинной шерстью, что мы опасались, не примет ли его охотнадзор за рысь. Раньше мы держали и кур, и свиней, и кроликов, но по мере того как решения о ведении хозяйства стали все больше приниматься мной, я сократил содержание домашних зверушек, как я их называл.

Я снова встал и продолжил поиски. Наткнулся на завещание 1951 года. В разговорах со мной дедушка тот год вообще почти не упоминал. Что-то такое про какую-то операцию. Которая, вероятно, достаточно страшила его, раз он захотел известить о том, что «*все движимое имущество Альме, хутор Вальтеру по достижении им совершеннолетия. Для меня предпочтительна кремация, если возможно*».

Последнее он вообще никогда не упоминал. Хотя это было бы малоподходящей темой для наших разговоров за кухонным столом. Вообще мысль о том, что дедушка может умереть, была мне чужда. Но Раннвейг Ланнстад, должно быть, знает о том, что он предпочел бы кремацию.

Я выпрямился и посмотрел на часы. Половина первого. Мне нужно было поесть и запастись сигаретами. Бензоколонка «Тексако» в Отте была единственным заведением, открытым в такое безбожное время. Три четверти часа езды ради замороженного гамбургера, разогретого в микроволновке, и двух пачек «Пэлл-Мэлл»?

Ну нет. Еще засну за рулем, да к тому же я собирался на следующее утро в похоронное бюро к самому открытию.

Пора заняться самым трудным.

На пустой желудок я вскрыл конверт матери. Обнаружил в нем тонюсенький листочек, так обтрепавшийся, что он едва не распался надвое по сгибу. Свидетельство о крещении, выданное в марте 1945 года в Мальмё. Девочке по имени *Тереза Морель*. Той, у которой мама одолжила книгу. Ее свидетельство о крещении, *здесь?* И что с ней было такое, раз ей приходилось предъявлять свидетельство о крещении так часто, что оно измочалилось до толщины папиросной бумаги?

Датой рождения было указано 15 января 1945 года. Та же, что у мамы. В голове у меня поплыло. Я подумал, не могла ли эта Тереза сопровождать маму сюда, но в глубине души знал, что это не так.

В следующей строке сообщалось, что мать Терезы звали Франсина Морель. Имя отца неизвестно. Место рождения – Равенсбрюк в Германии.

Ребенок, рожденный в лагере смерти.

Я ощутил какую-то не испытанную прежде дрожь. Опора стремительно уходила у меня из-под ног. Я отчаянно пытался найти что-то твердое, что-то незыблемое, и схватил в руки паспорт мамы. Когда она умерла, паспорт аннулировали перфорацией. Одна из дырочек при-шлась прямо на ее фотографию, пробив щеку, но оба ее глаза я видел.

Паспорт был выдан в Париже в 1965 году. Там черным по белому было написано, что маму зовут Николь Дэро, и указан адрес в Реймсе.

Реймс? Я всегда думал, что она из Отюя.

Мама была сфотографирована строго анфас. Волосы коротко острижены, и она казалась мертвенно серьезной. Двадцать лет. Откуда такая строгость во взгляде, если мама собиралась поехать отдохнуть в Норвегию, где ей предстояло познакомиться с моим отцом?

Я снова встретился с ней взглядом. Опустил глаза на другой документ. Руки у меня дрожали. В комнате явился незванный гость – правда. В виде листочка с тремя печатями. Свидетельство о смене имени от французского органа государственной регистрации.

Тереза Морель и вправду сопровождала мать. Постоянным довеском из прошлого. Незадолго до того, как ей был выдан паспорт, она сменила имя на Николь Дэро.

Мама родилась в Равенсбрюке. Женском концлагере к северу от Берлина. Изображение расплылось перед моими глазами. Зернистая черно-белая фотография изможденных полуго-лых людей. *«Отец неизвестен»*.

До этого момента образ матери у меня в мыслях был неизменным. Она оставалась суще-ством в синей одежде, добротой и теплом, которые просто *были*, она была частью определен-ного времени, хорошей главой, которая слишком рано закрылась.

Но теперь ее прошлое явило себя и выставило собственные требования.

Последним я достал из конверта выцветшее и мятое удостоверение личности. Удостовере-ние личности узника лагеря Равенсбрюк на имя Изабель Дэро из Отюя. Опять это место. Как магнитное поле, из притяжения которого мне никогда не вырваться. Раскаленная точка исчезновения.

Куда девалась Изабель? Подобным удостоверением узника не будешь разбрасываться. Такие вещи либо сжигают, либо хранят как зеницу ока.

Например, в мамином конверте.

Я сообразил, что у матери, должно быть, были приемные родители. Как и у другого чело-века, которого я каждое утро видел в зеркале. Как бы то ни было, один след у меня был. Один человек в целом городе.

Франсина Морель из Реймса.

Тут во мне снова всплыло то, что когда-то сказала Ханне. *«Ты не найдешь ничего, кроме всякой макулатуры, которая потом будет тебя мучить»*.

Я уселся, положив на колени кипу дедушкиных писем. Штампы военной цензуры и сва-стики.

Меня потянуло сжечь все это, пойти на поля и заняться картошкой. Когда же я узнаю, кто я такой, *настоящий я*, чего во мне больше всего? Все во мне как будто закрутилось, засасыва-ясь в огромную воронку, на поверхности которой плавала толстая пленка солдатской крови и старого ружейного масла. Такая толстая, что если б я не сумел собраться с силами и прорваться сквозь нее назад, на поверхность, я бы утонул. Только выпростав голову, я смогу выбраться на берег самим собой.

Я искал дальше и нашел нечеткую фотографию с прозеленью. Мама с бабушкой на крыльце маленького дома. Похоже, они не замечали, что их фотографируют. Мама была в косынке. Ужасно худенькая, кожа да кости.

Я поднес фотографию под самую лампу и тут увидел, что с обратной стороны к ней приклеена какая-то бумажка. Я осторожно просунул ножик между снимком и бумажкой и приподнял ее с краю. Проступил почерк Альмы.

«...француженка»

Бумага лопнула, и ее остатки не отдирались от клея. Я подцепил ее с другого края. Обрывки напоминали неподатливые комки снега по весне. Я осторожно соскоблил их ножом.

«Эта приبلудная француженка. Апрель 1966».

Что она имела в виду? Что мама была какой-то авантюристкой?

А позже, значит, кто-то заклеил этот комментарий бумагой. Бабушка? Или это Альма сама пожалела, что написала так?

Я еще порылся в конверте, но больше ничего о прошлом матери не нашел. Только копии бабушкиных писем ленсману Саксюма, в которых он ссылался на Закон о допуске иностранцев на территорию государства.

«Николь Дэро по-прежнему проживает и работает здесь, в Хирифьелле, и никоим образом не отягощает государственную казну; соответственно, закон об иностранцах разрешает ей продление пребывания в Норвегии также и на текущий год».

Я достал лупу и внимательнее разглядел фотографию. На маме была надета невзрачная дешевая одежда. Концы волос, выглядывавшие из-под косынки, посеклись, к груди она прижимала туго набитый пластиковый пакет.

Мама была гораздо более худой, чем на фото для паспорта. Кто такая была эта женщина, что появилась здесь с пластиковым пакетом из французского продуктового магазина, в котором лежала вся ее одежда? Альма не знала, с какой стороны подойти к фотоаппарату, насколько мне было известно. Или все-таки это она тайком сфотографировала маму? Или же снимок сделан отцом?

Нет, ведь в то время бабушка работала в Осло. Она не назвала бы маму приبلудной, если бы та *сначала* познакомилась с отцом в Осло, а потом приехала вместе с ним. И мама тогда не стояла бы в таком виде, будто дни напролет шла по железнодорожным путям. Объяснение состояло, должно быть, в том, что она приехала на хутор *до* того, как познакомилась с папой.

Отсюда вопрос поважнее.

Зачем молодая француженка, приемный ребенок без кола и двора, заявила на захолустный горный хутор в Норвегии?

4

Я вымыл Звездочку под сильной струей воды из поливальной установки и поехал в Саксум. Времени было половина девятого – рановато, конечно. Но сколько я себя помнил, трудно было заранее угадать, будет бюро «Х. Ланнстад и наследники» открыто или нет. Никаких передвижений за занавесками разглядеть было невозможно. Да я и не особо следил за ними. Я стоял безмолвного холодка, которым веяло от похоронного бюро, как открытой могилы.

Дверь оказалась запертой. Я снова уселся в машину и в ожидании занялся изучением бумаг, лежавших в бардачке. Педантично сохранявшиеся талоны за обслуживание в автоцентре Лиллехаммера. Сколько мог стоять этот автомобиль? Черное купе класса S, ежегодно пробегавшее менее четырех тысяч. За одним исключением. Пробег за 1971 год составил 9000 километров.

«Я знаю, что Сверре был очень высокого мнения о Николь», – сказал старый пастор. Да уж, такого высокого, что это сказалось даже на талонах в сервисной книжке. Дедушка знал, что они собираются в поездку. Одолжил им новую машину.

Я обернулся к заднему сиденью. Вот там я, значит, и сидел. Сегодня ночью я нашел дедушкин авиабилет во Францию. В одну сторону. В купленном несколькими днями позже билете на паром был указан регистрационный номер Звездочки. Дорога домой, и нас только двое.

Я закрыл глаза и попытался вызвать в памяти те четыре дня – тщетно. Бывало, у меня всплывало неясное представление о чем-то пугающем, произошедшем в автомобиле, какой-то истеричный голос, запах выхлопных газов и старых кожаных сидений, но тот автомобиль никак не мог быть нашим «Мерседесом». В нашем «мерсе», с его пахнущими дерматином сиденьями и минорным гулом мотора, я всегда чувствовал себя в безопасности. Если память меня не подводит.

В здании похоронного бюро зажегся свет.

Никакого колокольчика на дверях. Звук шагов, поглощенный темным паласом на полу. Монотонный рассеянный свет, может быть, 1/4 секунды при настройке блендера на 2,8. Возле черного стола четыре стула. Да и стоит ли заботиться о мебели, если обладаешь монопольным правом на деревенских покойников?

Она появилась из дальнего помещения в темно-сером офисном костюме. Обошла стойку, взяла протянутую мною руку и не выпускала ее. Ничего не произнося. Давала мне понять, что меня ждали. Сначала я подумал, что это молчание предназначено для родных любого рода покойников: навеки сломленных жизнью родителей, пришедших выбрать маленький гробик, жен тиранов, радующихся избавлению от этой скотины... Но молчание Раннвейг Ланнстад обволокло меня, словно хорошо подобранная анестезия, и я внезапно – и впервые за долгое время – ощутил некое единение с остальными жителями деревни. И другие до меня так же стояли в этой кладбищенской приемной, подавленные и охваченные горем, и я не стыдился того, что глаза у меня красные, а меня самого пошатывает после ночи, первую половину которой я копался в бумагах, а вторую лежал без сна и смотрел на часы.

Владелица похоронного бюро выпустила мою руку, пока та не успела взмокнуть, и пригласила меня присесть. Достала обтянутую кожей подставку для документов, прижала клипсой лист линованной бумаги и щелкнула шариковой ручкой в золоченом корпусе.

– Гроб, – сказал я.

Раннвейг растерялась. Снова щелкнула ручкой.

– Мне пастор рассказал, – пояснил я, – что кто-то прислал дедушке гроб.

– Да. Здесь есть гроб. То есть. Само собой. В смысле, что здесь есть гробы. Я хочу сказать, что не припомню, чтобы когда-нибудь мы сталкивались с подобной, ну, *процедурой*. Но я предложила бы сначала решить практические вопросы.

И Ланнстад вошла в привычное русло. Использовала свой опыт. Начала с простого, чтобы скорбящий не сорвался и не счел задачу непосильной. Кивнула, записывая пожелание, касающееся кремации. С памятником тоже все было в порядке, нашей практичной и предусмотрительной семьей было оставлено место на надгробии Альмы. Такого же типа, что и у мамы с отцом, из серо-голубого саксбургского гранита, – такой добывают только на выступе скалы пониже железнодорожного моста через Лауген.

– Цветы, – сказал я. – Ведь гроб должен быть украшен цветами?

– Обязательно. К тому же вокруг укладывают венки от родных и близких.

– Родных-то почти никого и нет, – сказал я. Возможно, пришлет венки из Рингебю кто-нибудь из родственников Альмы. Вот и всё. Вряд ли Общество овцеводов и козоводов пришлет что-нибудь своему номинальному члену из Саксбурга.

Раннвейг выждала пару секунд, покрутила ручку в руке.

– Мы можем организовать красивые букеты. Хорошие флористы – «Цветы от Ярла». Если гроб украшен со вкусом, в гармоничной цветовой гамме, то не страшно, можно обойтись и без пышности.

– Незачем обходиться без пышности, – сказал я. – Как вы думаете, что, если вокруг гроба уложить цветы картофеля?

– *Цветы картофеля?*

– Он как раз сейчас цветет. Я могу полный багажник привезти. Красно-фиолетовые у «Пимпернелки» и белые у «Пикассо».

Раннвейг Ланнстад перехватила ручку по-другому.

– Не вижу, почему бы нет. Думаю даже, должно получиться хорошо.

– Ладно, – кивнул я.

– Ты сейчас не один там живешь? – спросила она. – С тобой есть кто-то – из близких?

«Что, и *сюда* докатилось деревенское любопытство? – подумал я. – Ей хочется выведать что-нибудь о нас с Ханне?»

– Приятели заглядывают, – ответил я вслух.

– Ты их не чурайся. Тебе тяжело будет одному справиться с этим. Особенно тяжело придется в ближайшие дни.

Тут меня резко потянуло вернуться к разговору о конкретных делах. Говорить о бабушке, а не о Ханне. И мне пришло в голову, что Ланнстад наверняка *включала в цену* этот мягкий голос, и когда она выполнит свою работу, а бабушка упокоится в могиле, ей больше не нужно будет утешать меня за деньги.

Раннвейг покрутила ручку в пальцах. По ее свежееотглаженной блузке прокатилась мелкая рябь.

– Весной семьдесят девятого года, – сказала она, – пришел автомобиль от «Грузовых линий». Доставили продолговатый ящик, сколоченный из грубо отесанных досок. В ящике оказался обернутый в парусину гроб. К одной из рукояток был крепко привязан конверт, а в нем – письмо и денежная сумма, предназначенная в уплату хранения. Это было... необычно.

– Но почему вы не рассказали об этом бабушке?

– В письме говорилось, что ему не следует знать о гробе. Было написано, что *ты* должен решить, использовать ли его.

– *Я?* Кто-то хотел поиздеваться над ним?

– Нет-нет, милый мой! Нет. Мы бы никогда на такое не пошли. Помилуй Господь! Нет. Здесь нет никакой бестактности. Совсем наоборот. Гроб-то совершенно необыкновенный. Не хочу сказать ничего плохого о тех услугах, что мы обычно здесь предоставляем, но это самый

шикарный гроб, в каком когда-либо хоронили жителя Саксюма. Он пришелся бы как раз по рангу для дорогих похорон какого-нибудь государственного деятеля.

– Это от его брата, – объяснил я. – Эйнара. Я думал, что он погиб.

Раннвейг взглянула на меня.

– Мне жаль, если из-за этого тебе стало еще тяжелее в такое время, – сказала она.

Я выпустил воздух из легких.

– Любят мои родные преподнести неожиданный подарок... А сейчас где этот гроб?

– На складе. Парусину мы сегодня утром сняли. Правду сказать, очень хотелось бы уже покончить с этим делом.

– А письмо у вас еще? – спросил я.

Так и было. Мало того, должно быть, Раннвейг еще утром положила его в свою кожаную папку. Оно было напечатано на машинке, строчки лепились одна к другой. Она протянула его мне с таким же выражением лица, какое бывало у дедушки, когда я вот-вот вытащу проигрышную карту.

«Гроб для Сверре Хирифьелля. Сам он не оповещен об этом даре, и информировать его не следует. Решить после смерти Сверре, будет ли гроб использован, должен Эдвард. Если случится такая трагедия, что Эдвард скончается раньше Сверре, я прошу, чтобы в нем упокоился Эдвард. В этом случае покажите письмо Сверре. Если гроб не будет использован, он должен быть сожжен. В присутствии исключительно сотрудников бюро. Гроб нельзя ни красть, ни покрывать лаком. Огонь или земля, ничего более».

– Вы показали это письмо старому пастору? – спросил я.

– Нет, это уж было бы слишком. Но мы, конечно, с ним очень долгое время сотрудничали. Он обычно заглядывал на кофе пару раз в неделю. Когда гроб привезли, он его внимательно осмотрел.

– Ну и..?

– Ну и что?

– Как он отреагировал?

– Он сказал: «Должно быть, это от Эйнара. Только он мог такой сделать».

Я прошел вслед за Раннвейг Ланнстад в конец коридора. На складе веяло прохладой от бетона и каменной кладки. Старые скоросшиватели, ящик подсвечников с потускневшим серебрением... На глубоких полках, в два ряда тянувшихся вдоль каждой стены, стояли гробы. Большинство покрыты блестящей белой краской, несколько сосновых, пара черного цвета. Прислоненные к стенам образцы каменных надгробий. Как оставленные на перроне смерти чемоданчики.

– Службу совершит старый пастор, – сказал я, пока мы шли по складу. – Новый вроде бы в отпуске.

– В отпуске? – удивилась Раннвейг, открывая дверь.

– Так он сказал. Что новый пастор тоже имеет право на отпуск.

– Ну, может быть. Но ведь он только-только вернулся с Родоса.

– Seriously?

– Да. Я думаю, пастор Таллауг очень хочет взять на себя заботу о твоих родных, – сказала женщина и, включив верхний свет, положила руку мне на рукав, указав направление, куда посмотреть.

Гроб стоял на огромном столе, накрытом белой тканью, свисавшей до самого пола. Я застыл на месте, вытаращив глаза.

Во-первых, необычная форма: множество граней, бесчисленные фasetки, отражающие свет. Но что меня действительно потрясло, так это древесина. Береза мерцала янтарем. В полутемном помещении она чуть ли не сама светилась. Поверх глубокого цвета основы змеился непредсказуемый узор длинными изжелта-оранжевыми языками. Плотные скопления меняли

форму и высывали коготки, по-разному выглядевшие в зависимости от того, под каким углом я видел гроб. Поверхность крышки была исчерчена едва заметными резными квадратами, благодаря чему свет и тень ложились все новыми оттенками цвета и блеска.

Я подошел к гробу вплотную. Каждый угол на дереве был столь острым, что можно было порезаться. Крышка подогнана настолько точно, что невозможно было разглядеть щелочку между нею и нижней частью.

Сначала мне показалось, что это лакировка. Но нет, дерево было навощено и *отполировано*.

Весна 1979-го. Год, следующий за тем, когда дедушка не пустил Эйнара ко мне на десятилетие. В ответ на это тот срубил четыре дерева в березовом лесу. Для гроба достаточно.

Но этот подарок был послан не в знак примирения, сказал я себе. Гроб служил посланием. Посланием, точно рассчитанным по времени. Чтобы попасть ко мне сразу же после смерти дедушки.

– Гроб в стиле ар-деко, – сказала Раннвейг Ланнстад. – Подумать только...

Я посмотрел на нее долгим взглядом.

– Разве бывают гробы в стиле ар-деко?

– Этот, вероятно, доказывает, что бывают.

– Вы его когда-нибудь открывали?

– Мы тоже люди, – сказала Ланнстад, проведя пальцем по одной из бороздок.

Горизонтальная щелочка разрослась в зияющую черноту. Женщина без усилия подняла крышку, которая удерживалась в равновесии двумя хромированными балансирными пружинами. По всей длине в дерево была утоплена фортепианная петля из блестящей латуни, и я видел, что пазы всех шурупов выстроены в линию – достижение, стремиться к которому призывал нас учитель труда.

Гроб не был обит изнутри бархатом, как я предполагал. Он был фанерован древесиной того же рода, что и мое ружье. Похожей на свилеватую карельскую березу, но с еще более замысловатым, более необузданным узором.

Как зарево в аду. Или цветы, гнущиеся в непогоду.

* * *

Славное утро. Я проснулся на диване, одетый и пропотевший.

Вышел на кухню и просмотрел бумаги, которые достал накануне из дедушкиной шкапулки. Вечером я рассортировал их все, раскладывая листок за листком внахлест, пока они не закрыли весь пол в дедушкиной комнате, но нашел там только старые письма из местного отделения земельного комитета и договоры со страховой компанией. А потом просто рухнул от усталости.

Дедушка не соврал. Все, что имело отношение к семье, было собрано в тех конвертах. За одним возможным исключением. В уголке одного из ящиков я нашел небольшую связку ключей. Три блестящих ключа от навесных замков производства «*О. Мустад & Сын*» вместе с посеребренным от времени кованым ключом. Связка была прикреплена к продолговатой дощечке. Судя по виду, можно было подумать, что это ключи от домишек на пастбище или от лодки, но что-то подтолкнуло меня повнимательнее присмотреться к дощечке из поцарапанного красновато-коричневого дерева. Когда я поднес ее поближе к свету, то сразу узнал узор. Древесина грецкого ореха.

В конверте отца я нашел лишь табели успеваемости и свидетельства об образовании. Отец в числах и буквах, каким он предстал бы перед чиновником налоговой инспекции. Каким он все еще представлялся передо мной.

Единственным, кроме мамы, в кого бумаги вдохнули жизнь, был Эйнар, хотя в его конверте лежало всего три документа.

Телеграмма из Парижа от 12 июля 1938 года. *«Брат мой. Узнал новость т. сейчас, был 1 мц отъезде. Скорблю отцу. Возложи цветы могилу, пож. Эйнар».*

Фотография в коричневых тонах – должно быть, его – рядом с огромным крестьянским буфетом, богато украшенным резными завитушками. Эйнар был похож на дедушкино фото с членского билета партии «Национальное единение», но более худым. На лице странноватая полуулыбка, будто его неожиданно спросили о чем-то.

Заполненный бланк. *«Управление по делам о наследстве. Извещение приходскому священнику о смерти прихожанина. Полное имя покойного: Эйнар Хирифьелль. Время смерти: в ночь со 2 на 3 февраля 1944. Место: Отюй, Франция».* В графе, где спрашивалось, желал ли покойный быть захороненным или кремированным, стоял прочерк.

К бланку ржавой скрепкой прикреплено немецкое свидетельство о смерти, размером не больше билета рыболова. В пятом пункте причиной смерти указано: *«Hingerichtet»*. Казнен. Печать с немецким орлом и свастикой.

Обойдя сарай, я подошел к столярной мастерской. Всегда она так стояла: на отшибе, с облезающей красной краской, грязными окнами и замшелой черепицей, стоит себе в одиночестве и думает свои думы. Ключ от нее все эти годы висел в шкафчике в большом доме: вроде и доступен, ан нет, низ-зя. Еще совсем мальцом я как-то отпер дверь и заглянул внутрь, но мне стало не по себе от темноты, в которой едва проступали очертания инструментов и материалов. Пыли скопилось столько, что мне показалось: на полу лежит ковер.

Дверь разбухла от сырости, но мне удалось распахнуть ее пинком. И я застыл на пороге. В мастерской пахло тленом. Окно заросло желто-коричневой жирной пленкой.

На полу я увидел следы своих же ног с прошлого раза. Следы маленьких ботинок. На столярном станке в пыли была прочерчена бороздка. Должно быть, я тогда провел там пальцем, чтобы посмотреть, какого цвета поверхность под пылью. Больше никаких следов. Если Эйнар и возвращался на хутор, сюда он не заходил.

Я принес рабочую лампу из сарая с инструментами. Приволок, разматывая, удлинительный шнур. Включившееся освещение обнажило форму и замысел помещения. Верстак, ручные инструменты на стене, материалы под потолком, почти готовый стул в углу. Из-за слоя пыли все было похоже на фотографию с эффектом сепии.

Я снял две бутылки с подоконника и смахнул пыль с этикеток. *«Льняное масло #8»*. *«Шеллак #2»*. Содержимое в них давно спеклось в осадок цвета кости. Растворитель испарился, а остатки краски в банке корочками налипли на стекло. Из-за пыли я чихнул, взметнув при этом новое облако пыли, после чего чихнул снова и попытался поменьше шевелиться. Любое мое прикосновение открывало пятнышко цвета.

Отъезд на Шетландские острова не был спешным. Пол был выметен, никаких опилок, никаких стружек в укромных уголках под верстаком, все инструменты висят на своих местах.

Потом я посмотрел в окно. Увидел тот же вид, что наблюдал и Эйнар.

Если раньше я думал о том, что из-за слоя пыли на окнах нельзя заглянуть *внутрь*, то теперь я подумал, что *двор* тоже выглядит расплывчатым из заросших окон.

Я принес маску от пыли и веник и вымел самую оидозную грязь. Помыл окна и поставил стремянку под самую стреху – там, где находилось отверстие токораспределителя. Провода были обрезаны, и их концы скрюченными пальцами загибались к небу. Я заизолировал удлинительный шнур и подсоединил ток. Через окошко было видно, как включились лампочки.

Там хранились инструменты, которые нам вполне быгодились. Ленточная пила с темно-зеленой лаковой отделкой «под молоток». Фуганок. Полный набор ручных инструментов. Стамеска, отвертки, пилы. Я включил токарный станок, и он зарычал. Внушительная машина с холстинными ремнями и до блеска отполированными маховиками, с прилипшими к

высохшему жиру старыми опилками, обратившимися в пыль. Шпindel дрогнул, пару секунд пахло паленым, а потом он крутанулся и засвистел, рассекая воздух.

Однажды, заигравшись, я сломал красивый стул и сказал, что, если б у нас был токарный станок, мы могли бы сделать новый. Дедушка на это ответил, что нам никакого токарного станка не нужно. Провозившись с часок, он заменил две округлые точеные ножки стула грубыми четырехгранными.

Так столярничал дедушка. Шляпки гвоздей на виду. Все *слишком* крепкое. Словно он не хотел подражать кому-то вполне определенному.

В одном из шкафов стояли в ряд старые книги. «*L'Art du Menuisier Ebéniste. Anatomie du Meuble*». «Искусство столяра-краснодеревщика. Анатомия мебели». Рабочие чертежи мебели. Замысловатые конструкции со множеством деталей. По сорок ящичков у комодов. Круглый шкафчик с раздвижными дверцами из тончайших пластин.

Самым захватанным изданием был каталог парижской мебельной выставки 1925 года. Текст был на французском языке, и меня приятно пощекотало то, что я почти все понимал. На первой странице была изображена девушка – возможно, из племени фавнов. С корзиной цветов в руках, в развевающемся платье она резвилась на лугу вместе с антилопой.

Я уселся с книгой там, где пригревало восходящее солнце. К лесу, хлопая крыльями и каркая, пролетела ворона.

Здесь и он сидел. Именно *здесь*. Может быть, слышал, как над сосновым лесом, из которого он был приговорен мастерить светлую мебель, взлетают вороны. Птицы из того же вороньего рода, что только что пролетела здесь. Он сидел и мечтал. О великолепной мебели в стиле, подобного которому я не встречал. Вероятно, я даже за всю свою жизнь не встречу людей, которые *владели бы* такой мебелью. Фасоны, декор и узоры с каждой страницей становились все более виртуозными. А ведь был человек, пытавшийся превзойти их. Повсюду на свободных местах Эйнар рисовал собственные идеи. Он соперничал со стилем, который и без того уже был рискованным: штрихами набросал другую древесину, поменял рисунок на дверцах из матового стекла, заменив кое-где травление в виде тюльпанов замысловатыми геометрическими узорами.

На отдельном листке он начертил план березового леса. Обозначил расстояние между стволами. Написал, как поступать с молодой порослью. «*Пересаживать А, D и E раз в полтора года. В и С раз в пять лет*».

Я открыл «*Anatomie du Meuble*». На первой чистой странице было написано: «*Эйнар Хирифьелль, Париж 1933*». Ну и почерк! Строгий и четкий, с косой черточкой в букве X, тянущейся через всю фамилию. Это ведь и моя буква. Моя фамилия, которую я прежде видел замаранной в коричневое из-за войны, была здесь искусно выписана твердой рукой.

Мы могли бы жить, как нормальная семья. Вместе встречать Рождество, наслаждаясь сигаретным дымом и рассказами о далеких путешествиях. Мы могли играть под столом, дергая за юбки взрослых, стоявших у раздвинутых занавесок в ожидании появления во дворе машин, зарегистрированных не в нашей деревне.

Что требуется, чтобы и я мог писать фамилию *Хирифьелль* с такой же гордостью?

Я резко оттолкнул книгу от себя. Дедушкину действительность составляли день, навстречу которому он просыпался, и земля, которую он обрабатывал. Почему бы и мне не быть таким?

Я попробовал эту возможность на вкус: будто нет никаких конвертов в шкатулке. Будто не присылали гроб с Шетландских островов. Будто я могу по-прежнему наблюдать, как на лугах пробиваются побеги, выходить каждое утро в поле на «Дойтце», помытом накануне вечером...

Ложь может действовать подобно водке, подумал я. Нужно все время пить, чтобы скрывать от самого себя, что ты пьешь. Но, может быть, и правда в чем-то схожа с ней. В том, что испить ее надо до дна.

* * *

– К сожалению, этот человек не значится в списках населения. На Шетландских островах нет Эйнара Хирифьелля.

Ответы зарубежного отдела справочной Управления связи звучали холодно и категорично.

– Но, – сказала женщина в трубке, – это не значит, что и человека такого нет. Или не было.

– Есть его почтовый индекс в Леруике, – сказал я. – Сто восемнадцать. Это не поможет?

– Когда это было? – уточнила женщина. Она говорила по-столичному, но в ее фразах слегка проступал говорок Трёнделага.

– В шестьдесят седьмом году, – ответил я.

– Больше двадцати лет прошло, – сказала она без всякого сарказма.

Я представил себе карьерную лестницу в ее учреждении. Нечто вроде разницы в отделах по обслуживанию фотографов-любителей и фотографов-профессионалов в «Фотосервисе Осло».

– Попробую выяснить, – пообещала моя собеседница. – Я вам перезвоню. На это нужно время.

Я положил трубку и взял в руки фотографию мамы с отцом. Сказал себе, что или фотографию, или телефон нужно перенести в мой домик. Уселся на ступеньках лестницы и открыл альбомчик из столярной мастерской. Изображения парижских улиц.

Билет на «*Носферату*» в «*Le Grand Rex*». Очевидно, большой кинотеатр, на билете значилось 48-е место в 60-м ряду.

Фотография просторной мастерской, четверо мужчин в рабочей одежде вокруг гигантского шкафа. Снимок крупным планом молодого парня в рабочем халате – он дурачился, заматываясь стамеской. Подписано: «*Шарль Б.*». На следующем снимке мужчина с прямым пробормом, в круглых очках. «*Рульман*». На письменном столе у него угольник и наброски дивана.

На двух следующих фото был плот с двумя мужчинами в пропотевших рубашках. «*Бонсержан и Э. Хирифьелль в Габоне, 1938. Подписан договор с Лакруа о ежегодных поставках 300 т³ бубинги*».

Альбомчик для рисования, датированный 1926 годом. Сколько ему тогда было лет? Двенадцать? Уже тогда он рисовал городские улицы и великолепные дома, а еще просторные гостиные с величественной мебелью. На обложке в конце альбома – памятка для себя.

– *Убирать в хлеву без напоминаний.*

– *Не обращать внимания на Сверре, когда он задирается.*

– *По 30 мин. тренировать чистописание и чертежное написание букв.*

– *Помогать маме, когда ей одной приходится делать тяжелую работу.*

– *Сделать одну резную вещьцу вручную.*

– *Не меньше часа тренироваться в соединении ласточкиным хвостом или внакрой.*

– *Хорошо вести себя за столом. Убирать за собой.*

– *Прежде чем мастерить новые вещи для хозяйства, предлагать починить старые.*

Я представил себе нас двоих вместе на хуторе. Как это могло быть, если б братьями были мы.

Часом позже зазвонил телефон, резким металлическим звоном.

– С вами говорит Регине Андерсон из зарубежного отдела справочной Управления связи. Извините, что это заняло так много времени. Вы *уверены*, что индекс Леруик сто восемнадцать имеет отношение к человеку, которого вы ищите?

– Совершенно уверен.

– Проблема в том, что это никак не может быть его адресом. В шестьдесят седьмом году в Леруике было всего восемьдесят почтовых ящиков. Почти все письма доставлялись прямо адресату по фамилии и адресу. Но я выяснила другое. *Леруик*, сто восемнадцать – это был номер телефона парикмахерского салона на улице Сент-Суннива-стрит.

– Парикмахерского салона?

– Да. «Мастера Сент-Суннивы». Это возле перекрестка с улицей Короля Хокона. Я посмотрела карту.

– Гм, – сказал я мрачно. – Ну что же, спасибо за ваши усилия.

На этом месте Регине Андерсон выдержала искусственную паузу. Вступление к представлению, которое было призвано служить противовесом дням, заполненным неблагоприятными и скучными запросами в зарубежный отдел справочной.

– Из разговора с вами я поняла, что это важно, – сказала она, – и попросила коллегу из «Бритиш телеком» в Абердине поискать в архивных записях. Он выяснил кое-что интересное.

– И что же?

– Этот номер парикмахерский салон получил в тридцать седьмом году. Но в течение двадцати одного года, с сорок шестого по шестьдесят седьмой год включительно, в телефонном каталоге Шетландских островов с номером Леруик, сто восемнадцать было зарегистрировано два абонента. Один – «Мастера Сент-Суннивы». А вторым был некий Э. *Хирифельль*.

У меня засосало под ложечкой.

– Значит, в телефонном каталоге Шетландских островов на букву Х он значился под номером *Леруик, сто восемнадцать*? – уточнил я.

В трубку мне было слышно, как шелестят бумаги с отметками о ежедневных поисках среди иностранных четырнадцатизначных номеров.

– Да, – сказала Регине, – но только до шестьдесят восьмого года.

«Наверное, в 1967 году местонахождение Эйнара разузнала Альма, – подумал я. – А на следующий год, когда родился я, он удалил запись о себе из каталога».

– Вы меня слушаете? – спросила Андерсон.

– Да. Да, конечно. А салон тоже тогда закрылся?

– Нет, он работал еще до семьдесят пятого года. Но тогда произошла интересная вещь. Обычно старые номера не присваивают новым абонентам в течение трех лет, потому что многие еще помнят их и звонят по ним, полагая, что прежний абонент им все еще пользуется. Так вот, этот номер вообще не оставался бесхозным. Он был перерегистрирован на женщину по имени Агнес Браун с адресом улица Сент-Суннива-стрит. Очевидно, она жила на втором этаже, как раз над бывшим салоном.

– Должно быть, она была его владелицей? – предположил я, представив себе, что эта женщина, может быть, была замужем за Эйнаром, а позже он выехал оттуда.

– Вероятнее всего. Потому что эта Агнес Браун все еще числится в каталоге на этот год. Тот же адрес, тот же номер, только начальные цифры другие с тех пор, как телефонные станции автоматизировали.

– Да что вы говорите...

– Немного странно, что она не сменила номер. Пенсионеры же обычно не любят, чтобы им названивали с утра до вечера?

– Может быть, она ждет звонка от какого-нибудь конкретного человека...

– Ну да, для этого и существует телефон, – согласилась Регине Андерсон. – Дать вам ее номер?

– Да, пожалуйста, – сказал я. – В вас пропадает детектив.

– А вот и не пропадает, молодой человек. Я уже тридцать девять лет работаю в справочной.

Я впервые набирал заграничный номер телефона. На линии слышалось низкое жужжание. Словно сигналы с трудом пробивали себе дорогу под Северным морем. На другом конце раздался звонок – не такой, как у норвежских телефонов, а звонкое дребезжание.

Я не клал трубку, ждал.

Ответа не было.

Я повесил трубку и бесцельно походил по дому, думая об этом телефонном номере. Спустился вниз, взял дедушкин атлас, сравнил расстояния. Я знал, что когда-то Шетландские острова входили в состав Норвегии, и теперь понял почему. От Бергена до Леруика было ближе, чем от Абердина.

Тут послышался звонок телефона. Я стремглав взлетел по лестнице и схватил трубку.

– *Yes*, – сказал я. – *Hello?*

– Что? – отозвался голос на другом конце.

– Да?

– Это Раннвейг Ланнстад звонит. Это ты, Эдвард?

– А... Здравствуйте.

– Здравствуй. Ммм... мне очень жаль, но, увы, возникла одна проблема.

Она рассказала, что использовать гроб не получится. Он слишком широк для печи крематория. Вероятно, гроб был сделан по английским меркам – его ширина составляла ровно четыре фута.

«*Люди с мозгами не будут мерить в футах*», – говорил дедушка.

– Кстати, ты собирался положить вместе с ним в гроб нож? – спросила Ланнстад.

– Ему этого хотелось бы.

– Мы могли бы, конечно, положить нож в гроб, хотя это и не по правилам. Но кремировать с ножом – ну, ты же понимаешь...

С час я бродил по хутору, думая, как же быть. Потоптался среди ягодных кустов, наелся вволю, глядя вдаль, на поля, на столярную мастерскую.

«*Огонь или земля. Ничто другое*».

Я снова позвонил в похоронное бюро.

– Это я. А в церкви мы можем воспользоваться этим гробом? И достать его перед кремацией? Так можно?

– Но ведь, – сказала Раннвейг Ланнстад, – тогда у нас останется использованный гроб.

– Привезете его сюда, в Хирифьелль. Вместе с ножом.

– Эдвард... При моем роде занятий редко задаешь вопрос *зачем*, но, по-моему, сегодня мне придется это сделать.

– Гроб понадобится позже, – сказал я.

* * *

Я знал, что пастор живет в тупике возле закупочного кооператива, в черном одноэтажном домике, окруженном мохнатыми елями. Вероятно, когда он только поселился здесь, это были елочки, которые наряжали к Рождеству. А теперь они заняли весь участок. Толь на крыше порос мхом, водостоки забила хвоя. Его «Ровер» стоял на своем месте под навесом, но, когда я позвонил в дверь, он не вышел. Я обошел вокруг дома и нашел его в саду.

– Кто такая была Тереза Морель? – спросил я.

Пастор поменял позу на продавленном шезлонге.

– Твоя мать была твоей матерью, – сказал он, показав мне на сложенный шезлонг, стоявший возле водосточной трубы. Я разложил этот шезлонг и сел напротив него. Он пил что-то из литровой бутылки и предложил мне. Чтобы не показаться невежливым, я не стал отирать горлышко перед тем, как отпить из нее. Апельсиновый сок, густой и сладкий.

– Почему вы сразу всё не рассказали? – спросил я.

– К горю не примешается других чувств, если у тебя есть точка опоры. Я подумал, что тебе лучше потом узнать об этом. В роду Хирифельлей похороны никогда не были простым делом. О гробе-то ты в любом случае узнал бы. Но я раздумывал о том, что ты знаешь, а чего не знаешь о вашем прошлом. И как много ты *хочешь* знать. Для правды небольшая задержка бывает полезна.

За цветастые сиденья, на которых мы сидели, задевали травинки.

– Мне кажется, для нее настало время сейчас, – сказал я.

– Твою бабушку звали Изабель Дэро, Эдвард. Она родила твою мать в Равенсбрюке, перед самой капитуляцией. Должно быть, они потеряли друг друга, потому что твою маму удочерила француженка, и твоя мать росла в уверенности, что и на самом деле является дочерью этой женщины. Когда ей было семнадцать, она нашла документы, свидетельствовавшие, что это не так. В двадцатилетнем возрасте она сменила имя на Николь Дэро.

– Это дедушка рассказал?

– Нет, Вальтер. Мне нужно было заполнить свидетельство о твоём крещении, и для этого мне нужны были удостоверения личности и личные идентификационные номера. Тогда и всплыла эта история. Я увидел ее старые документы.

– А куда девалась моя настоящая бабушка?

– Этого я не знаю. Но если ей пришлось томиться в лагере и потерять ребенка, вряд ли это могло не сказаться на ней.

Я рассказал пастору о бумагах из шкатулки и о фотографии матери.

– Чего я не могу понять, – сказал я, – это зачем мама приехала именно *сюда*?

– Этой тайны они никому не раскрыли. Вальтер стоял на том, что она была туристкой.

– В таком случае она первая и последняя, кто отправился в туристическую поездку с целью повидать задворки Саксюма.

– Не стоит недооценивать деревню. Вифлеем тоже не был столичным городом.

Я огляделся в поисках камешка или еще чего-нибудь, что можно вертеть в руках, но ничего подходящего вокруг не нашлось. Сам не заметив этого, я сцепил пальцы и так и сидел, но расцепил их, когда заметил это.

– Интересно, почему она выбрала имя Николь, – сказал я.

– Кто знает...

– В свидетельстве о крещении мамы написано, что имя отца неизвестно. Когда вы с ней виделись, она уже выяснила что-нибудь?

– Я этого не знаю, к сожалению.

– Вы ведь правду сейчас говорите?

– Я всегда говорю правду. Просто не всегда говорю ее всю.

– Я съездил посмотреть гроб, который прислал Эйнар, – продолжил я. – Я думаю, он приезжал сюда на мой день рождения, когда мне исполнилось десять лет, и тогда же срубил деревья, из которых сделал гроб...

Таллауг смотрел на заросший газон.

– Надо же! – сказал он с удивлением. – Единственное, что мне известно, – это что Эйнар возвращался в Саксюм за год до того, когда родился ты. На, попей еще соку. И я *вправду* собирался рассказать тебе об этом в свое время.

* * *

Летом 1967 года Эйнар возник на пороге пасторского дома. Сам же Магнус Таллауг спокойно попил кофе и почитывал газету в полной уверенности, что Эйнар погиб в 1944 году. Не говорил бы тот на гюдбраннсдалском наречии – священник не узнал бы его, потому что лицо

его было изрезано морщинами, как кора остролиста. Здоровый и спорый парень, починивший распятие и запрестольный образ для Сакс്യомской церкви, стоял перед ним оборванный, весь дрожа. Состарившийся не по возрасту, с телом, напоминавшим коровью шкуру, наброшенную на стожар. Пастор увидел в нем глубоко страдающего человека. Годы недосыпа, однообразного питания и экономии мыла. Единственным, чем Эйнар отличался от обычного бродяги, были его ухоженные волосы.

В конце концов Магнус вытянул из него, что с самой войны он жил один на Шетландских островах.

– Но мне же прислали извещение о твоей смерти, – сказал священник.

– Хотел бы я, чтобы это было правдой, – ответил Эйнар. – Но мне нужно встретиться с девушкой, которая приехала в Хирифьелль.

Во дворе стоял помятый серый автомобиль с английским номерным знаком, такой же покоробленный и израненный, как брат моего деда. Пастор-то думал, что Эйнар наведася в Саксьюм в последний раз повидать родной дом, и переспросил насчет цели его приезда. Но нет, он приехал ради *Николь*. Он уже побывал в Хирифьелле, однако убрался оттуда, потому что Николь – мама – видеть его не желала. Таллауг спросил почему, а Эйнар ответил, что это пусть останется между ним и Господом.

– В таком случае именно я и могу вам помочь, – сказал пастор. – Со мной вы настолько близки к Всевышнему, насколько это возможно для живущего. Так что расскажите, для чего вам требуется помощь.

Эйнар растерялся. Он явно никакого плана заранее не составил, а заглянул к Магнусу потому, что это был как бы такой светоч, в присутствии которого хитроумные идеи зарождались сами по себе.

– Можно попросить у вас лист бумаги и карандаш? – сказал дедушкин брат, подумав. – Попробую написать ей.

В Эйнаре пастор увидел явление, с которым крайне редко встречался в Саксьюме. Эйнар стал верующим. Но наполнявшая его вера в Бога выражалась не в совместных песнопениях или подношении живых цветов в корзинах. Она была твердой, как камень, исполненной муки и раскаяния. Однако Эйнар отказывался рассказать, что за отчаяние терзает его.

В тот же день должен был собираться приходской совет, и священник предложил гостю поесть бутербродов, приготовленных по этому случаю, а сам вышел сварить еще кофе. Когда он вернулся с кофейником, Эйнар уже проглотил всю еду, словно голодал неделю, что, впрочем, хозяин дома счел вполне возможным. Потом брат дедушки сел за письменный стол пастора, написал письмо и отправился восвояси.

Будучи священнослужителем в Гюдбраннсдале чего только не увидишь, подумал Таллауг. Но этот эпизод пробудил в нем – по его собственным словам – *потребность посмотреть, не сумеет ли Церковь, постаравшись, облегчить страдания паствы*. И на следующий день он сел в свой «Ровер» и отправился в Хирифьелль. На первый взгляд казалось, что на хуторе никого нет, ни души не видать. Но пастор услышал голоса на огороде. Моя мать с Эйнаром стояли под сливовым деревом. Они разговаривали по-французски, и очень громко. Голоса были взвинченные, но не гневные. Когда Магнус подошел к ним, они замолчали. Мама сделала перед ним книксен и обменялась с ним парой вежливых слов по-норвежски, но потом сразу ушла в маленький дом. Пастор прогулялся по хутору с Эйнаром. Тот сказал, что мама в конце концов «поняла, в чем состоит ее благо», но Таллауг так и не понял, о чем это. Братья, похоже, так и не помирились, потому что Сверре и Альма вместе с Вальтером уехали на горное пастбище.

О жизни Эйнара пастор мало что узнал – только то, что тот поселился на Шетландских островах. Где он живет, осталось невыясненным. Эйнар скороговоркой упомянул только два места, Скаллоуэй и Анст. Название Скалловой священник слышал и раньше, этой гаванью на Шетландских островах во время войны пользовались норвежские транспортные суда; но чтобы

выяснить, что Анст – это самый северный из островов, пустынный и почти безлюдный, ему пришлось потом заглянуть в атлас. Таллауг заикнулся было о том, что Шетландские острова – странный выбор для человека, походившего в мастерах у краснодеревщика Рульмана, но не сумел выжать из Эйнара ни подробностей его жизни после 1942 года, ни что у него общего с моей матерью, ни почему ему необходимо обращаться к ней с письмом, чтобы она согласилась с ним поговорить.

Эйнар был рассеян, держался странновато, и вскоре беседа стала такой же односложной и неловкой, как и в пасторском доме. Но у Магнуса создалось впечатление, что в нем и в Николь сквозит нечто общее, что-то такое недосказанное в них обоих. Когда священник уезжал, Эйнар остался на дворе один, он стоял и смотрел в сторону леса. А потом из маленького дома снова вышла моя мать.

* * *

– И вы собирались сохранить это в тайне? – спросил я.

Мой собеседник снял очки и потер глаза.

– Я считал, что правду тебе лучше узнавать малыми порциями, – сказал он, снова водрузив очки на нос. – По шаткой лестнице быстрым шагом не поднимаются. Но теперь я рассказываю тебе абсолютно все, что знаю.

Я выдернул из земли травинку.

– Вы сказали про его волосы. Что они были ухоженными.

– Да, я обратил на это внимание. А в остальном он был весь жалок, оборван. В уродливых желтых резиновых сапогах. До этого я в последний раз видел его расфуфыренным и галантным, он тогда приехал из Парижа тридцатых годов.

Я рассказал пастору об Агнес Браун и «Мастерах Сент-Суннивы».

– Как вы думаете, из-за чего они с дедушкой стали такими недругами? – спросил я. – Тут ведь дело не только в войне?

Магнус допил остатки сока.

– Давай я сначала задам тебе вопрос о тех четырех днях, – сказал он. – Они мучают тебя, потому что ты страшишься *того, что* случилось, или потому, что ты *не знаешь*, что случилось?

– А какая разница?

– Еще какая! Для многих удобнее жить с правдой, которую они сами сляпали. Пусть там концы с концами не сходятся и полно белых пятен, но и так сойдет. Многим этого хватает на всю жизнь.

– Я уже принял решение, – сказал я. – Расскажите мне всё, что знаете.

– Видимо, поначалу раздор между братьями Хирифьелль посеяли политика и имущественные права. Я думаю, разлад вспыхнул с новой силой после несчастья в семьдесят первом году, к тому же он поменял направленность. Ибо кровь – не вода, в этом и состоит глубинная суть противостояния. Прости меня, что я даю волю беспочвенным рассуждениям, но я думаю, что Эйнар знал, как случилось, что твои родители погибли, но не хотел рассказать.

Дрожь пробежала у меня по лбу, передернула веки и покатила дальше, охватив все тело. Подреберье свело в узел, а потом что-то во мне надорвалось, и все новые мысли окрасились раскаянием. И зачем я поддался своему самонадеянному любопытству? Словно я ради забавы разобрал какую-то драгоценную вещь и понимаю, что собрать ее заново не в состоянии...

Пастор выпрямился.

– Ты просил меня рассказать все, Эдвард. Это тяжело принять. И это еще не конец. Ты должен справиться с этим. Ты должен все камни переложить в свой рюкзак.

– Почему, – пробормотал я, – вы так думаете об Эйнаре?

– Он не приехал на похороны. Или его не желали здесь видеть, или он не нашел в себе сил приехать. И то, и другое говорит в пользу того, что он был как-то замешан в этом деле, потому что раньше был просто одержим желанием встретиться с твоей матерью.

– Может быть, его не известили, – предположил я.

– Я не думаю, чтобы его требовалось известить, – возразил мой собеседник, после чего рассказал, что дедушка, из которого обычно слова не вытянешь, потребовал, чтобы моих мать и отца похоронили в одном гробу с общим надгробием, хотя они и не были женаты. Когда гроб опустили в могилу, они с Альмой упали на землю и рыдали в три ручья. – Вообще-то это нормальная человеческая реакция. Но я слышал, что Сверре, всхлипывая, все повторял имя Эйнара, обращаясь к земле. Произносил что-то вроде *«проклятый лес»*. Все снова и снова. Чередуя негодование и сочувствие. Словно он хотел и наказать брата, и примириться с ним.

– Так и сказал – *проклятый лес*?

– Несколько раз.

– Он имел в виду лес карельских берез?

– Нет. Было такое впечатление, что это он о том месте, где погибли твои родители и где пропал ты.

Я поднялся и пошел к забору. Дрожь в веках прекратилась. Но я знал, что теперь все будет не так, как прежде.

– А позже он на кладбище не появлялся? – задал я новый вопрос. – Эйнар, я имею в виду.

– Нет. Я следил за могилой, ее только один человек навещал.

– Дедушка?

Пастор покачал головой.

– Он не таков был, знаешь ли. В семьдесят первом снег выпал рано, и всю зиму только узенькие следы были протоптаны к их могиле. Альма.

– Дедушка по-другому поступал, – сказал я. – Он топил горе в работе.

– А ты? – спросил Магнус. – Ты как поступаешь?

Я сглотнул. Рассудил, что немного в жизни встречается таких поворотных пунктов, когда ты обращаешь взор к небу и обещаешь себе, что с этой минуты все будет иначе. Но и самые искренние обещания постепенно забываются, и клятвы следует давать, пока тебе еще больно. Моя голова и мои привычки толкали меня к тому, чтобы быть как дедушка, скрывать свои переживания. Но мое тело хотело совсем другого. Оно хотело, чтобы я сорвался и зарыдал, чтобы рвал и метал, совершал опрометчивые поступки, хотя бы ради того, чтобы показать: мне не все равно, я не лишен чувств. Потому что я осознал: больше всего мне не хватает умения по-настоящему почувствовать утрату.

Прошла, может быть, минута, а может, десять. Я все стоял у забора. А старый пастор все сидел в шезлонге. Смотрел на меня так, будто я был его любимым домашним животным, которое придется умертвить. Будто он неохотно примеривается: сколько раз придется ударить, прежде чем я упаду.

– Теперь лишь один камень остался, – сказал он.

– Выкладывайте, – отозвался я и поплелся к нему.

– Плохо только, что он из всех самый тяжелый и угловатый. Неразрешившаяся история твоей матери.

– Что за история?

– Я уже сказал, что Эйнар, будучи у меня, написал Николь письмо. Когда писал, он подложил под бумагу номер приходской газетки. Мы в то время могли позволить себе печататься на плотной глянцевой бумаге. Когда я потом убирал за ним, то увидел: он так давил на карандаш, что некоторые слова на газете можно разобрать.

Священник поднялся. Вслед за ним я вошел в дом и проследовал через попахивающую плесенью кухню в кабинет – тесный, потому что вдоль всех четырех стен высились книжные

полки, где исписанные на машинке листы со множеством внесенных от руки поправок высывались из промежутков между обложками книг и скоросшивателей. С трудом опустившись на колени, Таллауг извлек с полки коричневую папку. Внутри лежал старый номер приходской газеты.

– Я хранил ее здесь, – сказал он, – на тот маловероятный случай, если кому-нибудь из рода Хирифьеллей захочется поглубже покопаться в прошлом.

Солнечный свет падал наискось, и буквы отбрасывали крошечную тень. С годами волоконца бумаги расправились, но, плотно прижав лист к оконному стеклу, я смог различить слабые отпечатки аккуратного почерка Эйнара. Строчки пересекались, слова накладывались одно на другое, но кое-что проступало с достаточной четкостью. На свободном участке под рисунком, изображающем Саксумскую церковь, я увидел два имени. Сначала *Оскар Рибо*, рядом год – 1944 – и *Изабель Дэро*.

– Кто такой Рибо? – спросил я.

– Я не знаю, – сказал пастор и выдернул волосок из носа. – Может быть, я буду строго наказан за то, что скажу сейчас, ведь я приоткрываю дверь, которую твой дедушка двадцать лет держал закрытой, вероятно, не без причины. Посмотри внимательнее и увидишь, что одно слово на газете отпечаталось три раза.

– Какое слово? – задал я очередной вопрос, поворачивая листок.

– Там, там и – вон там.

Я проследил за пожелтевшим ногтем на указательном пальце Магнуса, которым он водил по слабым отпечаткам Эйнарова карандаша.

Повторялось слово «*l'héritage*». Что-то про наследство.

– От кого? – удивился я.

Старый пастор откашлялся и дал мне понять, что в этом деле он, возможно, слишком уж ретиво исполнял роль духовного наставника. В тот день 1967 года Магнус попытался разобраться, что же написал Эйнар, посыпав на газетный лист золы. Велико же было его изумление, когда он обнаружил, что это касается наследования имущества, принадлежавшего семье Дэро. Похоже было, что речь идет о ценностях, то ли в денежном выражении, то ли в том, что эти вещи были дороги как память, но священник понял так, что речь идет о чем-то, возраст чего исчисляется столетиями. Однако буквы все время сливались одна с другой, и было не ясно, то ли мама может знать, где искать это имущество, то ли Эйнар считал, что она является наследницей. Как бы то ни было, пастор истолковал это таким образом: мама собиралась спокойно жить на хуторе, а Эйнар пробудил в ней иные мысли.

– Я думаю, что Эйнар подготовил почву для той фатальной поездки во Францию в семьдесят первом году, – сказал Таллауг, складывая газету назад в папку. – Не имею представления, о каком наследстве идет речь. Но я случайно услышал слова Эйнара, сказанные твоей матери под тем сливовым деревом. Французским я владею так себе, но это соответствовало тем предложениям, которые тогда можно было разобрать на газетном листе. Эйнар сказал, что *все наследство сохранно и его хватит заполнить грузовик*.

– Так что, нам надо было съездить на ферму в Отюй? Откуда ведут свой род Дэро?

– Похоже на то.

– Вы думаете, Эйнар еще жив?

– Вполне возможно. Я же вот живу. Тело его было изношено, но я видел в нем ту одержимость, которая помогает прожить и сотню лет. А ему еще нет и восьмидесяти.

– Я все-таки не могу понять, почему мама приехала именно в Хирифьелль.

– Этого и я не понимаю. Но я обязан тебя предостеречь. Ведь сначала у твоей матери была фамилия Морель. Сменила ли она фамилию *с целью* предстать законной наследницей или впервые услышала о наследстве от Эйнара, – этого я не знаю.

* * *

Дома меня ждала белая «Манта». Трава доходила ей до колпаков на колесах. Капот был горячим. Ханне сидела в обрезанных джинсах на застекленной веранде и, почесывая комариный укус на загорелой ляжке, читала учебные материалы о комбикормах для поросят. Грюббе дремал на подушке, прикрыв мордочку лапой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.